



## В. В. ШУЛЬГИН

### Три столицы

#### XV В МОСКВУ

Я говорил о том, что на пути к интернационалу лежит деление на мелкие народности. Что чем большее количество людей и чем бóльшая территория занята одним языком, тем легче переход к интернационализму. Что хотя временно партия согласилась на образование самостоятельных республик, в которой каждой представляется говорить своим языком, но это вовсе не есть идеальное положение, и что поэтому каждый истинный коммунист должен стараться восстановить бытовое господство русского языка как главнейшего на всем пространстве СССР.

Прочтя эту маленькую лекцию, я с достоинством отправился на верхнюю полку, где и принялся грызть яблоки. Внизу разговор не умолкал, но уже на другие темы.

— Как вам нравится теперешняя Москва? — спрашивала томная еврейка. — Вы ведь настоящий москвич?

Он ответил:

— Да, я — настоящий москвич, природный. Вы хотите знать, нравится ли мне теперешняя Москва? Нет, скажу откровенно, не нравится...

— А почему? Она теперь, кажется, еще оживленней, чем была?

Купец немножко помолчал, как будто не то колебался, не то собирался с мыслями. В это время поезд стоял на какой-то станции, и было тихо, как бывает во время остановок. Но скоро тронулись. Он перекрестился, как он делал после всякой остановки, и вместе с движением поезда заговорил:

— Пожалуй... Шума — много! Старая Москва, та была тише. В московских особняках этого, что сейчас, шума не было. Зато

другой шум был. Золотой шум... Сейчас вот семь вагонов мануфактуры отправили. Боже мой, какой шум поднялся! Семь вагонов... Можно подумать — Европу зажгли. А раньше? Семьдесят вагонов отправят, никто бровью не поведет. Пустое дело было... Ежедневное. Ну, придешь, скажем, к Петру Петровичу, вот позавтракаешь. Спросишь, Петр Петрович, семьдесят-то вагонов идет? Петр Петрович подумает, скажет: идет. Если уж сказал, — кончено. Больше тебе ничего не надо. Уже семьдесят вагонов — твои, уже пошли. Почему? Потому что купец это было — слово. А слово — это был купец. А теперь на самую пустяковину, на то, что и смотреть нечего, он мне сейчас тащит бумагу, условия, векселя, подписывать контракт, да что вы, в самом деле? Не могу я этого понять. Как так дела делать? Не то чтобы семьдесят вагонов отправить по одному слову, а из-за одного вагона семьдесят человек на тебя набрасываются! Все вместе кричат, все что-то предлагают, один тащит в одну сторону, другой в другую, друг у друга перебивают, семьдесят тысяч слов сыпят в минуту! Вы не подумайте, пожалуйста, что я с точки зрения национальной говорю. Нет, я в национальном вопросе совершенно беспристрастен, а просто так, обычаи пошли иные, и к ним душа не лежит... Старая Москва иная была. Тихая. Да в тишине этой золотой шум звучал...

Я посмотрел на него сверху, у него в эту минуту было красивое лицо. А рука выразительным жестом как бы сыпала золотые струйки, куда-то в пространство, в далекое прошлое...

Еврейка помолчала: по-видимому, на нее подействовала эта старомосковская золотошумная сюита.

А купец продолжал:

— Я лично хорошо живу. Жаловаться нельзя. Я с самого начала, как началась революция, не скрывался. Вот видите, купеческое платье ношу и всегда носил. И на всех бумагах и анкетах, где приходилось писать, всегда писал — купец. Не стыдился и не отрекался... И вот, ничего. Сейчас — служу. Дело большое. Начальники мои коммунисты. Ну что они понимают? Надо дело знать. И им это ясно теперь стало. И вот, ценят. Я им сказал: «Служить вам буду, но только вы моих убеждений не трогайте». А мои какие убеждения? Религиозные. Коммунизм — коммунизмом, а религия — религией... Я им сказал: «Не препятствуйте мне молиться, в церковь ходить, посты соблюдать и праздники чтить». Они смеются. Но не препятствуют. Вот я сейчас возвращаюсь на праздники. На наши праздники, по-старому. В командировке был ответственной, но в сочельник должен дома быть. Это уже как хотите! Или уважьте, или работать не буду, голову с

плеч рубите. А без иной-то головы в деле не обойдешься. Уважили. Вот еду, завтра сочельник у нас.

Он перекрестился.

\* \* \*

Потом разговор перешел на другие темы. Он рассказывал увлекательно, про разное, преимущественно из старого. Острых тем не касался. Рассказывал и про железнодорожный мир, благо вопрос о том, опоздаем ли мы или нет в Москву, еще раз всплыл. Рассказывал на ту тему, что все хорошо и все плохо. Как на какой-то железной дороге применили премию машинисту за прибытие в срок и за сбережение угля. И это давало хорошие результаты. А на другой железной дороге, когда применили что-то в этом роде по отношению к начальникам станции, в страшное крушение влипли. При этом он свободно оперировал старыми фамилиями бывших железнодорожных тузов, с которыми был в приятельстве. Он совершенно не стеснялся говорить о том, что он был и что он делал, как не стеснялся креститься и носить купеческое платье. Видимо, эта крепкая порода действительно выдержала революционный самум и сейчас почувствовала свою силу. Можно было с уверенностью сказать, что он из старообрядцев.

Увы! Бог его знает, какими путями это произошло, что, можно сказать, цвет деловитости русской оказался в раскольниках. Впрочем, это понятно. Пусть неверно верили эти люди, но крепко верили. Остальные же, которые легко пошли на новшества, только в некоторой своей части были просвещенной и умнее, в остальном же были просто партией КВД — куда ветер дует...

Сугубо было бы интересно углубиться в вопрос, почему торговая купеческая деятельность исторически нередко была связана с глубокой религиозностью. Что это так, мы могли бы проследить на трех примерах: солидные вековые английские купцы как-то неразрывно связываются с торжественным чтением Библии по воскресеньям; торговое еврейство всех веков, до самого последнего времени, отличалось фанатической набожностью; и, наконец, почти все наше именитое купечество — раскольники, которые из-за вопросов веры готовы были идти на костер.

Мне кажется, что солидные торговые предприятия создавались многими поколениями. Необходимо, чтобы сын делал то же самое, что отец, а внуки и правнуки наследовали дело дедов и прадедов. Для этого необходимо, чтобы люди в течение ряда поколений (в общем) жили бы одними и теми же идеалами и ру-

ководились одними и теми же правилами. Словом, это должны быть устойчивые психические типы, с традицией в крови.

Это условие чаще всего встречается у натур религиозного склада. Ибо религия, которая не меняется на протяжении тысячелетия, есть самая мощная производительница традиции. В то время, как люди нерелигиозные вечно мнутя из стороны в сторону, следуя за взаимно противоречащими рационалистическими доктринами, вечно повторяя на мировой арене гениальную драму Тургенева «Отцы и дети», религиозные люди не знают этой трагедии взаимно враждующих исканий. Сын молится так же, как молился отец, и вместе с молитвою наследует миросозерцание — комплекс моральных понятий. А вместе с этим и вкусы и навыки. Кроме того, ведь натуру человеческую нельзя перерезать ножом: если человек идеен в одном, он будет таким же и в другом. Если человек способен из-за религиозных соображений пойти на всяческие жертвы, лишения и даже муки, то он будет тверд и последователен и во всех остальных областях своих деяний. Отсюда и это подслушанное мной выражение: слово — это купец, купец — это слово...

Большие дела не могут твориться без кредита. А что такое есть кредит? Кредит это есть выражение доверия. Вот говорят, если человека выбрали в парламент, ему оказали доверие. Может быть. Но когда человеку на слово дают крупные деньги, то, пожалуй — это есть «кованое доверие», которое больше стоит, чем избирательное.

Известные моральные твердые основы необходимы в солидном торговом деле. Но скажут: а евреи? Ведь евреи — это, по ходячему представлению, есть антитеза морали.

К сожалению, здесь кроется грубое заблуждение, за которое так называемый христианский мир уже много раз платил и будет платить.

Евреи почти весь окружающий мир рассматривают как некую враждебную стихию. И по отношению к этой стихии они применяют мораль войны. Чтобы понять еврейскую силу, основывающуюся на еврейской морали, надо твердо понять: солидные коммерческие евреи глубоко честны по отношению друг к другу. Прожив много лет в нашем, юго-западном крае, я наблюдал, как еврейство ведет большие хлебные операции самым упрощенным путем: рассылаются открытки во все стороны от Челябинска до Кишинева. И по этим открыткам без всяких гарантий и обеспечений хлеб притекает туда, куда надо, т. е. туда, где сидит какой-нибудь еврей-мукомол, которому верят евреи — отправители хлеба. Если бы купеческое еврейское слово не было бы твердо

по отношению к евреям же, эти операции не могли бы производиться.

Религия есть великая ось. Поэтому люди религиозные всегда будут созидателями длительных больших вещей, рассчитанных на много поколений.

\* \* \*

Вопрос о том, опоздает ли поезд в Москву или нет, разрешился утром. Выиграл купец, поезд опоздал. Но победа эта, можно сказать, была пиррова. Ибо опоздал он на десять минут. На пробег между Киевом и Москвой, совершенный в 21 час, это можно сказать, не считается.

Спал я прекрасно, благословляя русские железные дороги. Ибо надо было иметь большой талант, настойчивость и изворотливость, чтобы после всеобщего разрушения движения его так восстановить. О товарном я не знаю и потому говорить не буду. Не знаю также, как функционируют малые пассажирские ветви, но большие работают хорошо.

И, конечно, это сделано не кем иным, как старыми железнодорожниками. Заслуга «верхов» может сводиться здесь только к тому, что, когда действительность ударила своим жестким концом по коммунистическим лбам, они кое-что поняли и позволили железнодорожникам работать.

То есть, другими словами, они поняли то, чему их учили многие, в том числе и я, еще на большом совещании, в Большом Московском театре, под председательством Керенского и в присутствии генералов Алексеева, Каледина и Корнилова<sup>1</sup> в августе 1917 года.

— Слыхали ли вы про «митинговую починку паровозов», когда вместо того, чтобы передавать «диктатуру ремонта» опытным мастерам, суеверный пролетариат собирается митингом вокруг искалеченного локомотива и речами в стиле революционной демократии стремится залечить зияющие раны поршня и подшипников? Так вот, пока это будет продолжаться, у вас не будет железной дороги, как уже нет армии. Митинги и работа — вещи несовместимые.

Так говорили мы на этом совещании. Большевики, которые составляли половину залы, то есть около тысячи человек, яростными криками встречали выступления каждого из нас, но намotalи на ус наши мысли. И, дорвавшись до власти при помощи митингов, эти митинги разогнали, и с той поры паровозы стали чиниться и таскать поезда...

## XVI ДОНСКОЙ МОНАСТЫРЬ

Я не видел Москвы с августа 1917 года. Тогда она находилась в апогее керенской распущенности. Было лето. Теплый воздух улиц был пропитан тяжелым запахом проститутских духов. Развал социальной гнили праздновал свой апофеоз. Это был какой-то кабак на кладбище. Среди училища, — единственная часть, на которую можно было положиться, — стоял Большой московский оперный театр, в котором заседало Государственное Собрание. Впрочем, оно больше напоминало оперу, чем последнюю попытку сговора людей, которым иначе предстояло вступить в смертельную борьбу. Однажды я вошел в этот театр, запоздал к началу (совещание длилось несколько дней) и был поражен: этот Керенский на сцене, с двумя адъютантами-офицерами, столбющимися в полной форме за его креслом, эта трибуна, крытая роскошным бархатом, эти столы под ярко-красными сукнами — совсем «состязание певцов» из «Тангейзера»...

\* \* \*

Опера быстро кончилась, и началась трагедия. В этой трагедии действующими лицами были те, у которых за актерством таилось «настоящее». Те, которые могли не только «выступать», но и поступать. Те, кто могли не только говорить речи, но и принимать решения. К их числу, конечно, не принадлежал Керенский...

\* \* \*

С тех пор я Москвы не видел. Но и тогда я ее видел как сквозь туман, весь поглощенный Государственным Собранием, с одной стороны, и отвращенный от самой Москвы нестерпимым запахом революционной корчмы. Впрочем, и вообще Москву я знал очень плохо. Поэтому москвичи, да простят мне несчетное число промахов, которые я сделаю в дальнейшем изложении, не запомнив и не обратив внимания на то, что каждому москвичу бросилось бы в глаза.

День был морозный, но серый. Первое впечатление была картина, развернувшаяся с моста на Москву-реку, столь известная, много раз воспроизведенная кистью. Она была все та же. Могу сказать только это.

Затем меня поразило неистовое количество извозчиков — всяких: легковых и ломовых. Ломовые, эти огромные васнецовские кони, с рыжими, кудлатыми гривами, с кистями, ниспадающими на копыта, через некоторое время куда-то исчезли. Зато легковые извозчики, всем известные ваньки, безмерно увеличивались в числе, пока не превратились в сплошную вереницу. Эта гусеница еле протискивалась по обе стороны трамвая. Вся эта история, т. е. вся эта бесконечная колонна лошадей, останавливалась в то же мгновение, как останавливался трамвай.

— Это у нас строго, — сказал Петр Яковлевич. И действительно. Пока трамвай стоял, никто не смел шевельнуться. Поэтому можно было рассмотреть, что делалось у трамваев. Тут шел штурм.

— Поглядите, — сказал Петр Яковлевич. — А когда расходятся из учреждений, около шести часов — хуже... Попасть невозможно.

Действительно, лезли, как могли. Однако чувствовалась во всем этом какая-то сильная рука. Эти извозчики, замиравшие на месте, эти люди, которые перестали штурмовать набивши до предела, чему-то повиновались и чего-то очень боялись. Это было несомненно. Уличная дисциплина почувствовалась сразу.

Кто лез в трамвай, разобрать в этой каше трудно было. Но толпа, скучившаяся у остановок, давала об этом представление, и в особенности та толпа, которая двигалась по улицам.

В общем была она «салопная», и еще более, чем в Киеве, «валенчатая». Сказывался климат. Валенки мелькали всех сортов и фасонов. Начиная от изящных белых валенок, прошитых чем-то «для кокетства», стоящих до тридцати рублей, как объяснил мне Петр Яковлевич, и кончая простыми, безобразными, коричневыми.

Но среди этой салопчато-валенчатой толпы было много хорошо одетых или все же недурно одетых. Мелькали шляпки на дамах, шубки, ботинки. Пожалуй, можно было сделать некоторое различие между публикой, стремившейся в первый вагон и во второй вагон трамвая. По крайней мере, мне так показалось.

\* \* \*

Мы ехали бесконечными улицами, узкими, все больше мимо невзрачных домиков, столь характерных для Москвы. Я смотрел на все это «анархическими» глазами. По-моему, есть на свете две хороших вещи: старина и роскошь. Эти две штучки обыкновенно исключают друг друга. То, что старинно, не роскошно. То, что

роскошно, есть продукт последнего слова науки, техники и искусства.

А вот в Москве невероятное количество домишек, которые и не старина и не роскошь. Эти домишки без всякой архитектуры, построены, должно быть, во второй половине XIX века и ровно ничего из себя не представляют. Таких домишек можно встретить сколько угодно в любом губернском городке. Они имеют только одну особенность, но весьма печальную: занимают драгоценное место.

Если можно жертвовать этим местом для старинных зданий, хотя бы и не больших, если следует сохранить знаменитые московские особнячки, представляющие поэзию известного стиля, то остальное надо бы безжалостно ломать. Где нет старины, там надо создавать роскошь; роскошь современных возможностей, роскошь небоскребов. Ведь подумать, этот город, если его застроить прилично, совершенно свободно вместил бы несколько миллионов людей, а сейчас он задыхается от тесноты только потому, что перевалил за миллион...

Впрочем, это судьба всех русских городов. Если сравнивать наше строительство с западноевропейским, то можно изречь, что в то время, как там лезут вверх, мы расползаемся вширь. Возьмите французский городок, насчитывающий едва несколько сот жителей. Он имеет трех- и четырехэтажные дома, благодаря чему весь концентрируется на ничтожной площади. Протяжение его иногда в сто-полтораста — двести метров. Но благодаря такой ничтожности протяжения, он может себе позволить хорошую мостовую, уход на нескольких, но прекрасными деревьями, украшение крохотной, но уютной площади, на которой есть «фонтан, церковь и памятник».

У нас деревня в тысячу и две тысячи человек постоянное явление. Она растягивается на версты, замостить невозможно, разводится фантастическая грязь, дойти в церковь и то уже подвиг.

Конечно, перестроить нашу жизнь в «порядке декретности» могло бы прийти только в <...> голову Ленина или кого-нибудь в этом роде. Но осознать, что ползать по земле вовсе уж не такое достоинство и что в известных случаях необходимо лезть на небо, это полезно было бы и всем нам.

По крайней мере, всем тем, кто придет после большевиков и кому придется бесконечно строить. А это непременно будет, ибо послереволюционные периоды отличались строительством, хотя бы взять в пример императорский Рим и императорскую Францию. Пока же, к слову сказать, большевики ничего не строят. Я



по крайней мере (забегаю вперед) за все пребывание в Москве строящихся домов не видел.

— Но зато «реставрируют», — сказал Петр Яковлевич. — Мы на этом тоже помешаны. Мы уже все сделали, все исправили, жизнь наладили, мы можем даже позволить себе роскошь служить искусству и науке: мы реставрируем. Мы реставрируем какой-то (т. е. он не сказал «какой-то», а это для меня, провинциала, он какой-то) Шереметьевский особняк, снимаем с него штукатурку позднейших наслоений и вообще, и вообще. «Исторических музеев» у нас тьма-тьмуца. Мы стремимся во что бы то ни стало доказать свою культурность. Остаткам человеческим мы рубим головы без всякого сумления. Но то, что уцелело от старого режима в смысле вещей, мы бережем любовно. Это, чтобы Европа знала и понимала... Растрелянных ведь не показывают. А вот музеи — пожалуйста. Но самое интересное, вот полюбуйтеесь...

Мне очень стыдно, я так плохо знаю Москву, что могу напутать. Однако несомненно, что мы были в это время на площади, с которой хорошо виден так называемый Китай-город, т. е. историческая зубчатая стена, насколько я понимаю, опоясывавшая Большой Кремль.

— Вот, полюбуйтеесь, — сказал Петр Яковлевич. — Ведь вы, конечно, слышали, что Москву называют Белокаменной. Но где же эта белокаменность, когда все эти исторические стены красного кирпича? Так вот советская власть решила восстановить белокаменность. Ибо под красной кладкой действительно белые стены. Вот посмотрите...

Действительно, это ясно было видно, потому что часть стены еще оставалась красной, а часть, уже освобожденная от позднейшего покрова, была серо-белой.

Эта история, что красная власть поставила себе целью восстановить белую Москву, показалась мне символом, над которым я бы мог без конца философствовать, если бы мы не въехали в какую-то улицу, одну из очень известных в Москве, но о которой я из благоразумия помолчу, где мой спутник подыскал мне гостиницу.

— Москва переполнена. Здесь достать комнату в гостинице, это надо иметь просто счастье. Тем более недорогую.

— А какие тут цены?

— Самый дешевый номер стоит семь рублей. Семь рублей? Три с половиной доллара? За эту цену я могу нанять лучший номер в лучшей гостинице в Париже.

— В Париже!.. А это — Москва. В Париже сколько евреев?

— А почему я знаю!

— А вот здесь чуть ли не все, которые уцелели в России! Я зашел в эту гостиницу, куда я вас везу, и мне обещали, что оставят мне номер. Но это еще не значит, что оставят. А у вас документы в порядке?

— Как будто в порядке. В Киеве жил без всяких затруднений.

— Ну и здесь будет то же. Лишь бы достать номер.

Мы подъехали. Вошли. Это была скромная гостиница. Поднялись по лестнице, вошли в какую-то комнату, которая за границей называлась бы бюро. Здесь заседал какой-то молодой человек, напомнивший мне этого же типа субъекта в киевской гостинице. Он посмотрел на меня пронизывающим взглядом и спросил:

— По командировке?

Я ответил:

— Да, командировочное.

— Предъявите.

Я подал ему мои документы, стараясь понять по его лицу, какое они производят впечатление.

«Но на челе его высоко не отразилось ничего...» С этим лицом он мог бы свободно дать мне комнату и здесь, и в чрезвычайные. Я уловил явственно запах ГПУ.

Но он сказал:

— Зайдите в шесть часов вечера. К этому времени может быть, освободится комната. Семь рублей. Оставьте ваш документ пока здесь.

Я попросил разрешения оставить вещи в конторе, на что он милостиво соизволил, и мы решили с Петром Яковлевичем побриться здесь же в гостинице, благо парикмахерская была против конторы.

Пока мы ожидали очереди, еврей-парикмахер с очень изможденным и очень неприятным лицом кончал голову какого-то добродушного россиянина, попавшего в комиссары (между прочим, это слово сейчас совершенно неупотребительно). Петр Яковлевич объяснил мне про того величественного, что в конторе:

— Это общее правило. Гостиница может быть частная, имеет хозяина и все такое, но для наблюдения всегда приставлен некий партиец, который сидит в конторе и следит за всеми приезжающими.

Еврей работал хорошо, как работают в России, где вы никогда не рискуете натолкнуться на то, чтобы вам вдруг мылили щеку холодной водой. Все было в порядке, и бритва, и одеколон, и

пудра, только лицо его было неприятное до нестерпимости. Мне все казалось: а вдруг он мне отрежет голову.

Освеженные, мы ушли и погрузились в «кипяток огромного города».

Следить тут за тем, не следят ли за мной, было абсолютно невозможно, а потому я бросил это занятие, что было весьма приятно и беззаботно.

\* \* \*

Петр Яковлевич, человек очень религиозный, хотел, чтобы я первым делом поехал поклониться могиле Патриарха в Донской монастырь. Это мне было очень по душе. Случилось так, что и в Киеве я первым делом попал в церковь.

От всех впечатлений у меня в голове немножко путалось. Я помню только очень много людей, как в любом большом городе. Но только люди эти были иначе одеты, как-то грубее и теплее. Тонконогих, в шелковых чулках эмигранток, напоминающих зябнувших птиц, здесь не было видно. Если шелковые чулки и были, то они засовывались в ботинки. Так как становилось все холоднее, то все больше было поднятых воротников, и вообще было много меха, скверного, дешевого, но все же меха.

Лица? Здесь было не так много бритых, потоку что Москва все-таки оказывала свое влияние, борода сохранилась. Но все же их было много. Из этого большого числа бритых огромный процент были, несомненно, евреи. Количество их поразило меня в Москве, именно в Москве. Были они всякие, явно советские, явно спекулянтские. В общем они были одеты лучше.

Наконец мы вышли на знаменитую площадь, которая волнует сердце всякого русского, хотя бы он не был москвичом.

Передо мной был Кремль, к каковому слову прибавить больше нечего. Сказать Кремль — это достаточно.

\* \* \*

<...> Кремль и все, что там такое есть, непередаваемое и неопишемое, смотрело на меня со всех сторон.

Трамвай тащил нас бесконечно. Сначала улицы были лучше, потом началось бесконечное вроде как бы предместье. Страшно раскинулась Москва. Не пожалели, можно сказать, земли русской. Ехали через какие-то базары, где водоворотом шла толкучка в валенках и в мехах. День был серый, и все это казалось не особенно веселым, но полным движения. Жизнь кипела, несмотря на серость и мороз.

Ехали мы и мимо совершенно бесконечных больниц и благотворительных учреждений. Теперь это захватила коммунистическая власть и что-то там делает. Но надписи остались: все это частные пожертвования. Глядя на эти огромные усадьбы, многокорпусные, грандиозные, я после долгого перерыва ощутил, что русская ширина натуры не исчерпывается безудержным пьянством. Здесь размах жертвователей был достоин именитого московского купечества.

Без конца длился какой-то бульвар, и, наконец, мы приехали.

Кто не видел Донского монастыря, тому надо бы посмотреть. А кто видел, для тех описывать бесполезно.

Мы вошли в ворота и сначала пошли в главную церковь, которая стоит высоко, т. е. на высоком основании, как в Париже на рю Дарю, 12. В церкви было величественно, холодно и пусто. Потом пошли к какому-то домику у главных ворот. Здесь жил патриарх Тихон<sup>2</sup>. Это был домик для сторожа раньше. Тут решили поместить Патриарха всея Руси, духовного пастыря величайшей державы. Впрочем, это не имеет никакого значения. Сила их не в палатах. И Патриарха в сторожке обожали во сто тысяч крат больше, чем церковных владык во всей пышности их великолепия.

И я выслушал от Петра Яковлевича рассказ участника и очевидца того, как хоронили Патриарха.

Это начиналось здесь и шло на много верст вот по всей той дороге, по которой мы только что ехали. Тут были сотни тысяч людей. Царил полный порядок. Когда вынесли гроб, было так тихо, что все свечи горели. И этого нельзя рассказать.

Да, эти вещи не передаются. Их только можно почувствовать. Я почувствовал, что это было нечто такое, что потрясло на всю жизнь всех, кто это видел. Это был какой-то психический ток необычайной силы. Огромное количество людей соединилось одновременно в одном чувстве, и чувстве высоком. Это не могло пройти без последствий. Эта грандиозная волна куда-то побежала и что-то сделала. И она даст какие-то результаты. Но какие, в настоящее время наше сознание еще бессильно перед этими проблемами. Мы объясним это себе совершенно иначе и не сможем связать то, что произойдет, может быть, еще не скоро, с этими похоронами тишайшего Тихона.

Когда камень падает в воду, от него идет круг. Круг бежит далеко и доплеснется до всех берегов озера. Когда Патриарх лег в гроб, белая волна побежала во все стороны. Она забежала в самые различные уголки и везде что-то колыхнула...



Мы пошли в другую церковь, поменьше. Там было уютно, как бывает только в русских церквях. Было бы темно, если бы не множество свечей, которые молились Богу во всех углах. Шла служба. Было много народа, но не в этом дело, а в том настроении этого храма и этой молитвы... Вовсе не все храмы одинаковы, и вовсе не везде одинаково молятся. В некоторых эмиграционных русских церквях молятся хорошо: горячо и искренно. А вот в этом храме Донского монастыря, здесь молились люди еще с большим сосредоточением, чем мы молимся в рассеянии... Служба была какая-то старинная, и этим она отличалась от наших эмиграционных церквей, куда люди вкладывают свои «последние достижения». И то и другое хорошо. Лишь бы не было «умственности». Когда Богу служат, стараясь что-то кому-то «доказать», ничего не выходит. Надо стараться сделать *как можно лучше*. Сделать так, как больше всего нравится человеку, — в наивном, но глубоко верном представлении, что и Богу это приятно. Божеству, если об этом можно говорить, собственно, нужна любовь к Дому Божьему. Она может проявляться различно, но она должна быть.



Справа у стены была могила Патриарха. Гробница была накрыта шитьем и вся уставлена цветами и свечами.

Простоял у этого гроба некоторое время, и было тут хорошо. Что можно сказать больше? Я никогда не знал Патриарха лично. У меня не связывалось с ним никаких воспоминаний. Но я знаю, что было тут хорошо. Было, как надо. Человек становился чище и тверже. То, что нельзя сказать словами, говорили свечи своим трепетанием. Недосказанное свечами договаривали цветы. Впрочем, вековые слова, все те же, древние, тысячелетние и каждый день новые, неслись величественным журчаньем эктении<sup>3</sup>. В этих моленях было все. И не надо было ничего больше, как только присоединить к этому огромному потоку чувств, стремящихся из храмов всей земли к небу, и свою незаметную молитву. Истекая этой маленькой струйкой, душа росла и становилась больше.

Так капля, соединившись с миллионами других, перестает быть каплей и мыслит себя мощной рекой.



Мы вышли, и на пороге храма я купил крестик. Петр Яковлевич спросил у благообразного старичка-продававшего:

— А где сейчас митрополит Петр Крутицкий? <sup>4</sup> Не будет слу-  
жить?

Старичок ответил:

— Митрополит? Да ведь он арестован!

— Как?

— Арестован... или этой ночью, или прошлой.

Петр Яковлевич был этим очень расстроен. Мы отошли. И по-  
шли на кладбище, где он хотел показать мне одну могилу. По  
дороге он говорил:

— Этого следовало ожидать. Они употребляют все усилия,  
чтобы разрушить Церковь. Но не берут этого прямо в лоб. Это они  
оставили. Поняли, что прямое нападение невыгодно: похороны  
Патриарха показали, какая за ним была сила. Они даже теперь  
официально проповедуют, что религия не должна подвергаться  
насилиям, ибо от гонений вера только крепнет. В этом последнем,  
они, конечно, не ошибаются. Поэтому они действуют иначе. Они  
стараятся разложить духовенство, иерархов, к сожалению, это  
им удается. Заместителю Патриарха, митрополиту Петру, до  
известной степени удавалось продолжать дело покойного. Вот и  
надо было его свалить. К сожалению, по моим сведениям, раз он  
арестован, то по доносу не живцов <sup>5</sup>, а тихоновцев же. У них идет  
раскол и игра в честолюбие. По моим сведениям, они донесли,  
что митрополит Петр ведет антисоветскую, деятельность. Это  
неправда, потому что, продолжая путь Патриарха, он держался  
вполне корректно по отношению к властям предрежащим. Но  
ведь для них это не важно, правда это или нет. А важно было его  
арестовать. Потому что они твердо решили уничтожить Патри-  
аршество, т. е. единоначалие в Церкви и создать коллектив, т. е.  
восстановить Святейший Синод. Они его назовут как-нибудь ина-  
че, увеличат число членов, например до шести, и в этом коллек-  
тиве всегда сумеют делать все, что хотят, при помощи обер-про-  
курора. Обер-прокурор будет называться иначе, а персонально  
им будет Тучков, чекист, который заведует церковными делами.  
Вот и весь смысл этого ареста. Впрочем, есть и другой. Но пой-  
дут ли они на это, еще неизвестно. Они хотят пустить версию,  
что Патриарх был отравлен. А это им нужно для того, чтобы  
вскрыть тело Патриарха. А вскрытие им нужно для того, чтобы  
предупредить возможность будущей канонизации. Они думают,  
что канонизация вскрытого тела невозможна.



Мы подошли к могиле.

— Это могила служки Патриарха, убитого в его передней. Эту могилу очень чтут, и, видите, тут всегда цветы.

## XVII ГУМ

Мы возвращались тем же путем, и я откровенно признался Петру Яковлевичу, что адски хочу есть.

— Ну, в таком случае, чтобы раздражить еще вам аппетит, я вас проведу по обжорным рядам.

И действительно! В этом смысле Москва, кажется, восстанавилась вполне. Бесконечные ряды, где навалена в титанических количествах всякая еда. Но преимущественно балыки и всякое такое. Огромные рыбы туши, перерезанные пополам, гипнотизировали своими красными дурхшнитам, серебрились чешуей. Валялись горы дичи, в перьях и общипанные, неистовое количество всякого рода «икр», да и вообще всего. Я перечислять не мастер, но это грандиозно.

— Ну где же мы будем есть? — взмолился я. Перебрав то и другое, решили, что лучше всего там, где нас будет ждать Антон Антоныч, т. е. у «Мюр и Мерилиза».

И вот мы подошли к этому огромному зданию. «Мюр и Мерилиз», как всем известно, был большой универсальный магазин, вроде «Ка-Де-Ве» в Берлине. Теперь он сохранил тот же характер, только перешел в собственность казны, т. е. советской власти. Подходя, я увидел в нижних огромных зеркальных витринах всякие принадлежности туалетов, среди которых узрел достаточное количество крахмальных воротничков, рубашек, галстуков и тому подобных вещей. Это сильно уступало роскоши западных столиц, но явно было на пути к ней. То же самое и дамские принадлежности. Советская власть, не поспекает за буржуазными правительствами, но все же бежит за ними петушком, вприпрыжку.

— Кто и когда это одевает? — спросил я. Петр Яковлевич ответил:

— А вот пойдите вечером в какой-нибудь шикарный ресторан. Туда нельзя явиться как-нибудь одетым. В толстовочке не пойдете, неудобно-с!

— Но как же Его Величество Пролетариат на это смотрит?

— Никак не смотрит, потому что туда его не допускают. Это ему не по средствам. Он глухо ворчит. Но на ворчанье есть ГПУ. Впрочем, я должен сказать, что если вы в этих ресторанах будете появляться слишком часто и кутить слишком вызывающе, то к вам может подойти молодой человек из завсегдатаев этого места, безупречно одетый, и спросит вас: «Кто вы такой и где вы служите?» И тогда у вас будет внезапная ревизия. И могут обнаружить растрату. А если не обнаружат растрату, то могут к чему-нибудь другому придраться. И если у вас нет сильной протекции, то вас могут выслать. Вообще, на всякий случай, существует знное количество всяких статей, под которые вас могут подвести. Поэтому кутить можно, но с оглядкой. Так-то у нас, в рабоче-советской республике.

Мы стали входить, вернее, втискиваться. Ибо в огромные двери валила толпа. Толпу эту как-то выкручивало туда-сюда, очевидно, это сделано, чтобы избежать сквозняков и очень резкого перехода температуры. Ибо внутри, действительно, оказалась жара. Толпа эта частью растекалась по нижнему этажу, остальное потоком перло вверх по лестнице, так что и на лестнице была давка.

— Сегодня еще ничего, — сказал Петр Яковлевич. — А бывает так, что и не влезешь.

По мере того, как мы поднимались, толпа рассыропливалась по этажам. Наверху стало свободное я мог рассмотреть кое-что. Случайно это была музыкальная витрина, где я увидел новое изображение, гитару с двумя одинаковыми грифами (оба грифа с ладами) о четырнадцати струнах. Я видел лютни в Германии о тринадцати струнах, и второй гриф был без ладов: это значит, мы переплюнули немцев. Тут же были кавказские товары: шелка, ковры и «серебром да чернью» всякие штуки. Пройдя сие, мы очутились в ресторане, большой комнате, уставленной столиками, совсем как у «Ка-Де-Ве» в Берлине. Только там надо стоять у кассы и что-то выпрашивать, а здесь барышня приходит сама. Я не решился ни завтракать, ни обедать, а потребовал себе кофе с бутербродами. Бутерброды подали истинно московские: шириною в Черное море. Больше двух одолеть нельзя было. Очень вкусно и очень дорого.

Публика была тут разная. Полуевропейски одетая, но и романовские полущубки встречались. Лица всякие. Евреев достаточно. Но далеко не исключительно. Очевидно, как это ни странно, в Москве есть и русские, которые могут поесть.



\* \* \*

Барышни одеты довольно прилично, но не слишком любезны — служат в слегка повелительном стиле, однако на чай берут с удовольствием. Обращаться к ним официально надо «гражданка», но лучше «барышня».

Кстати, о барышенстве: как раз, кажется, в это время вышел декрет, запрещающий называть телефонных барышень барышнями. Действительно, с точки зрения советской власти, не может быть барышни. Ибо барышня значит боярышня, нечто совершенно непереносимое, а кроме того, выйдя замуж, барышня становится барыней, а ведь в начале русской революции был провозглашен лозунг, что «нет господ»! Но так как мы из примера французской революции, а также и многих других знаем, что господ уничтожить нельзя, а что единственный результат революции состоит в том, что все становятся «господами» (monsieur, madame), то я твердо уверен, что декрет о барышнях останется мертвой буквой.

\* \* \*

<...> Но как бы там ни было, нельзя отрицать, что казна в известных условиях может выступать как сильнейший фабрикант и торговец. И это в особенности в России, где казна в силу отсталости и инертности населения всегда должна была идти впереди и вести на поводу остальных. Интересно знать, если бы Петр Великий не «вздернул Россию на дыбы», то сколько столетий еще раскачивалось бы население, прежде чем соблаговолило бы что-нибудь делать в смысле движения вперед. Ведь наша промышленность была создана Петром, как и бесчисленное число иных областей жизни. А наука? В странах западных университеты выросли сами собой, исторически, из усилий самого населения. Но если бы русская власть стала ждать, пока из русского народа сами собой выползут университеты, то «роса бы очи выела». Вот поэтому вместо «самостийных» Сорбонны и Гейдельберга, которые были государства в государстве, у нас появились Императорские университеты, в которых все, до последнего кирпича, было сложено просвещенным абсолютизмом казны. Да разве только это? Тут от бесспорно великого до чуть смешного только один шаг. Теоретически вызовет улыбку мысль, что государство занимается изготовлением танцовщиц, выделыванием изящных безделушек и препарированием сказок для детей и взрослых. Но все это было в России. Императорская балетная

школа выпускала превосходных балерин, всемирно известных. Императорский фарфоровый завод выделывал роскошные чашечки (во время войны он же делал прекрасные бинокли), и Экспедиция заготовления государственных бумаг, которая была лучшей типографией в России, печатала всем известные «русские сказки» с великолепными иллюстрациями Билибина<sup>6</sup>.

Такова была старорежимная Россия, в которой начало и родник всякой культуры надо искать около трона, а продолжение в предприятиях казны, которая «династическую» инициативу доводила до государственного масштаба. Лишь гораздо позднее и под влиянием примера сверху начинали шевелиться частники. Конечно, с течением времени и они захватили серьезные позиции. Однако пример мировой войны показал еще раз силу казны *в чисто фабричной деятельности*, когда сию казну обстоятельства и напор общественного негодования заставили встряхнуться.

\* \* \*

В сущности, это явление совершенно естественно. Ведь русская культура — культура заимствованная. По тысяче и одной причине мы отставали от столетия. Что было делать государственной власти, когда она осознала, что так дальше идти не может? А поняла это власть, когда убедилась, что военная слабость России происходит от ее культурной отсталости. Государственной власти представлялось два пути: первое — ждать, пока подвластный ей народ создаст собственными усилиями собственную культуру такой высоты, которая могла бы противостоять просвещенным соседям, второе — заимствовать и вооружить себя, пусть чужой, но готовой культурой. Евразийцы полагают, что надо было идти первым путем, т. е. ждать, пока наша Россия создаст свою развитую культуру на едва обозначившемся московском фундаменте. Но сие есть великое заблуждение, ибо возможность выбора только кажущаяся, на самом же деле никакого выбора не было.

Россия отбилась от монголов только потому, что заимствовала у них высшее их достижение и сильнейшее их оружие, а именно — ханат, т. е. самодержавие. Собранным в одной руке восточным ордам нельзя было противопоставлять вечно между собой грызущуюся систему удельно-феодальную. Точно так же отбиться от западных соседей России удалось только потому, что Россия переняла у них ту минимальную дозу западной культуры, которая обеспечивала возможность ввести у себя западную военную науку и технику (вернее, некоторое ее подобие). Ждать,

пока Россия создаст свою собственную стойкую культуру, это значило распротиться с государственной русской самостоятельностью; другими словами, после столетий татарского ига подвергнуться на века владычеству шведов или иных западников. При этом европейская цивилизация все равно была бы введена, но под совершенно иным углом. Вряд ли при этой концепции мы родили бы Пушкина и все то, чем мы привыкли гордиться. Во всяком случае, на такую «историю» государственная власть, заслуживающая этого имени, пойти не могла. Она предпочла заимствовать, чтобы защищаться, заимствовать второстепенное (внешнюю культуру), чтобы спасти главное (государственное бытие). Модно, конечно, видеть главное во второстепенном, т. е. считать, что нельзя было жертвовать бородами и длинными полами для спасения государственного бытия. Но тогда надо принять теорию непротивленчества врагу внешнее. Если так, то надо было отречься от России, как самостоятельного государства, и всю свою душу вложить в охранение «русскости» (понимая под «русскостью» московщину семнадцатого века).

Так как даже самая постановка этого рода вопросов требовала умственного развития, значительно превышающего уровень тогдашней «общественности», то все было решено горсточкой людей, состоявших из самих государей и их ближайшего окружения. По их инициативе шли заимствования, и вот почему столь много в России шло «сверху», насаждалось вместо того, чтобы расти самосейкой. Не вина русского государства, что «частники» наши были, как лес дремучий, в отношении тех неумолимых вопросов, которые ставили соседи милые... Хорошо бы жить по старинке, да никак нельзя было — заморские новшества стучались в дверь не клюкой подорожной, а рукояткою меча.

\* \* \*

Вот откуда идет усиленная «промышленная» деятельность русской государственной власти в прошлом. Какова она будет в будущем?

Это зависит от того, насколько частники будут отвечать требованиям жизни. Надо думать, что деревня, покончив с социализмом, как «республиканским», так и «императорским» (поземельная община), станет на ноги и сумеет выдвинуть свое первостепенное в сей земледельческой стране значение. Другими словами, деревня через людей просвещенных и талантливых, которые будут и в правительстве, и в общественности, потребует соблюдения ее деревенских интересов. И тут между землей и фабрикой произойдет весьма серьезная борьба.

Русская частная промышленность, чувствуя себя бессильной бороться с промышленностью привозной, будет требовать покровительственных пошлин. На первых порах такие пошлины и будут декретированы в медовый месяц национализма. Но обратная сторона не замедлит сказаться: под защитой покровительственных пошлин русская промышленность будет поставлять русской деревне товары гораздо дороже, чем таковые же товары могли бы были быть получены из-за границы. Деревня это скоро расчухает и потребует снятия покровительственных пошлин. Но ее урезонят, доказав ей, что из соображений патриотических надобно сию дороговизну терпеть. Однако деревенский вопль не пройдет бесследно. Зарботает мысль в том направлении, отчего да почему русская промышленность сможет работать так же дешево и хорошо, как промышленность иноземная?! Подумают и, вероятно, придут к той мысли, что, помимо всего прочего, дело тут в том, что русские предприятия слабые, малокровные, вернее сказать, мало капитальные. Что поэтому именно они не могут взять тот размах, какой имеют предприятия заграничные. А покровительственные пошлины, давая возможность выходить *не на величине оборота, а на высоких ценах*, именно этой мелко-травчатости и покровительствуют. Когда эта мысль укоренится, то будет уже рукой подать до возвращения к исконной русской системе: очень крупные хозяйственные предприятия взваливать на плечи государства. И, вероятно, взвалят. И весьма возможно, не без успеха. По крайней мере, во всех тех областях, где секрет, действительно, коренится в масштабах производства. Государство ведь сразу может выступить крупнейшим фабрикантом. Оно может соперничать с Фордами, Крупными, Ренами и Ситроенами. Под защитой пошлин государственные заводы разовьются и постепенно начнут понижать цены до такой высоты, когда пошлины можно будет снять за ненадобностью. Одновременно с этим русская частная промышленность будет исчезать в нежизненной своей части. Все же частные заводы и фабрики, которые способны работать не только в таможенных парниках, но и на вольном воздухе, будут, вероятно, трестироваться в крупные предприятия. И таковые будут конкурировать с государственной промышленностью.

\* \* \*

С такими мыслями я смотрел на роившийся около меня Гум. Коммунисты воображают, что, открыв государственный магазин, где они торгуют всякой всячиной, галстуками, гитарами и про-

стынями, они совершают нечто глубоко социалистическое, некое таинство в стиле чистого ленинизма. Не понимают, что они просто вернулись к старорусским навыкам, когда Императорское Правительство не только нас обучало, возило, поило (монопольной, удельными винами и шампанским «Абрау-Дюрсо»), но даже готовило нам балерин, тонкие сервизы и раскрашенные детские сказочки. Спрячясь, жалкий Гум, старой русской казы в таком «социализме», если сие социализм, не перещеголяешь!

Впрочем, сей Гум, наверное, чепуха. Должно быть, дает убыток, а если не дает убыток, то какое-нибудь мошенничество под этим, какие-нибудь скрытые субсидии или что-нибудь в этом роде, например, налогов, вероятно, Гум не платит, налогов, которые душат частников. Да и вообще это чепушная мысль, чтобы государство занималось этой мелочью; его дело — массовые производства Крупно-Фордовского масштаба.

Но не в том сила. Вопрос состоит в том, чтобы найти правильный водораздел в будущем. Когда большевики уйдут, люди, добросовестные и свободные от предрассудков, будут рассудочно и на ощупь искать: где же проходит выгодная грань между государственной и частной хозяйственной деятельностью?

Где остановить линию государственных снегов, одевающих Россию сверху? Где проложить черту, за которой должна быть зеленая поросль сочной частной инициативы? Да, в этом весь «гумский вопрос»...

## ХVIII ДОМИК

Мы вышли из Гума и нырнули в город в тот час, который, может быть, для красной Москвы наиболее типичен. Это — часть, когда советская, чиновничья стихия заливают улицы. Народ не помещается на тротуарах. Это в буквальном смысле слова человеческий поток, который хлещет через Москву. Каким-то образом мы вышли на Тверскую. Тверская, хотя и главная московская, но сравнительно узенькая улица. Тут взгромоздиться на тротуар было совершенно невозможно. По обеим сторонам, занимая часть мостовой, стесняя извозчицье и автомобильное движение, двигался этот бюрократический поток, перемешавшись с «обычным» населением.

Первое, что бросилось в глаза в этой реке, это ее национальная окраска. Огромное количество евреев. Закутанные в меха, дешевые и дорогие, они представляют современную вариацию тради-

ционного «русского медведя». Впечатление было еще, может быть, более резкое, чем Крещатик в Киеве. Может быть, потому, что в Москве особенно подчеркивалась эта еврейская струя, ибо евреи и Москва не успели, так сказать, вступить в законный симбиоз, освященный веками, как в Киеве.

Но во всяком случае здесь повторялось то же явление: захватывался центр. Большая Москва — окраинная Москва, так сказать, — лучи пятиконечной звезды могут быть русскими. Но сердце должно быть юдаизировано. Сделалось ли это по некоему плану или само собой — это пока не ясно. Вероятно, было и то и другое.

На Тверской можно было увидеть если не хорошо, то богато, по-советски, одетых людей. Между прочим, входила в моду нелепая фуражка, сделанная из каракуля. Это пахло каким-то шкловским безвкусием. Я заметил также некую тенденцию в «военном» мире. К шлемам, «буденовкам», к «стрелецким» застежкам на груди — некоторые прибавляют желтые сапоги, так сказать, гримируясь «под рынду». Славянофилы-чекисты! Комбинация, на первый взгляд, удивительная. Но, при дальнейшем размышлении, нельзя не признать, что опричники царя Иоанна Васильевича имеют некоторое духовное сродство с партией коммунистов. У тех и у других была одна и та же задача — бороться с «земщиной».

\* \* \*

Насчет «электрификации». В ленинском смысле, т. е. в расуждении сотворить что-нибудь доселе невиданное в мире, ничего не вышло. Но вообще говоря, если предъявлять требования обыкновенного большого европейского города, то Москва сейчас освещена хорошо. Много просто фонарей, сверкают светящиеся вывески, которые между прочим, по советской привычке, «поучают». Они учат гражданина, чтобы он ходил по правой стороне, чтобы он не лез на мостовую, сие опасно... Но последнее тщетно. Поэтому, как мне сказали, в Москве за хождение по мостовой людей штрафуют. Три рубля, которые немедленно взыскивает тут же милиционер. Вообще говоря, порядок поддерживается, и, видимо, суровой рукой. Иначе, при несомненно великом переполнении Москвы, произошел бы грандиозный кабак. Между тем такового не замечается. При большой напряженности движение все же течет сравнительно гладко.

Движение очень большое. Извозчики постоянно образуют сплошные вереницы, голова в голову, насколько видит глаз. По-

ложим, сей глаз недалеко увидит из-за кривости улиц, но все же... Около трамваев образуются человеческие «стоки». Автомобилей довольно много в Москве. Разумеется, не столько, сколько в Париже, но порядочно. Неистово носятся красные мотоциклеты с лодочками. Их много, и они хорошего типа. Много движется и автобусов. Эти ослепительно сверкают. Все это, вместе взятое, плюс свет магазинов, и принимая во внимание искрящийся снег, делает вечером Москву нарядно-кипяще-образной. Дневная сырость зданий, сравнительная убогость рядовой московской архитектуры стусевываются, и получается нечто резко-контрастное, от чего легко может сделаться мигрень, но что живет искрометной жизнью.

Мы, по дороге, заходили в несколько магазинов. Везде шла напряженная толкучка этого часа. Например, колбасная, где, кажется, было собрано все, что может изобрести человеческий ум в свином направлении. Кафельные полы, посыпанные отрубями, отдавали чем-то ужасно знакомым. В булочной было то же самое. Столпотворение вавилонское творилось и в каком-то «государственном» магазине, который торговал всем, чем угодно, начиная с самоваров и кончая калошами. Я там спрашивал «толстовку» и штаны «галифе». Но таковых не оказалось. Толпа схватала все. Вообще московская толпа, кажется, способна все поглотить, съесть все калоши и выпить все самовары. Я понял выражение «товарный голод». Именно — голод. Но откуда деньги берутся?

Книжные магазины, как и в Киеве, сверкают колоссальными витринами. Книг масса, но все то же самое. Политика и техника. Первое конечно, никто не читает, и, кажется, слава Богу, очень читают второе. Беллетристика почти отсутствует, появляясь разве в переводных изданиях.

По-видимому, в Москве можно достать все, что угодно, сейчас. По крайней мере, витрины предлагают многое. Хотя, надо сказать, московские витрины все же какие-то бледные после Парижа, Берлина. Блеска Западной Европы еще здесь нет. Но к этому идет...

\* \* \*

Наконец, мы попали на ту площадь, где три вокзала. Площадь очень красивая. Наверное, советские шантажисты показывают ее иностранцам как свое произведение. Особенно хорош Ярославский вокзал. На мой вкус, в нем найден стиль для будущего московского строительства. Ведь не век же будет состоять Москва из

двухэтажных домишек, которые и не старина, и не роскошь. Придет когда-то день великого творчества. Мне глубоко противна квасная самобытность, но между таковой и удачным нахождением родственных данному городу архитектурных форм — дистанция огромнейших размеров. Посадить Ярославский вокзал в Киеве нелепо. Киев должен найти какой-то свой собственный стиль под стать Софийскому, Михайловскому и иным соборам. Москва же обязана «кремлить». Москва без Кремля ничто. Всякий, конечно, волен чувствовать, как ему угодно, но мне бы хотелось, чтобы Москва перестраивалась в стиле Ярославского вокзала. А самое назначение этого здания показывает, что кремлевский стиль может приспособливаться к современным зданиям.

\* \* \*

Впрочем, я отъехал куда-то совершенно в сторону. Это потому, что мне хотелось передать, что в морозные вечера, когда снег горит, эта площадь, окруженная контурами необычайного типа зданий и вместе с тем оживленная световой толкотней трамваев и автомобилей, — есть нечто сугубо московское и очень красивое.

\* \* \*

На большой доске, указывающей расписание поездов, я мог убедиться, что в некоторых направлениях пригородное сообщение очень интенсивно. Уходит в сутки до тридцати поездов в одну сторону. Я сначала не поверил этой таблице. Пишется одно, а выговаривается другое. Но в дальнейшем оказалось, что это так. Движение под Москвой большое, вроде берлинского, и очень точное. Да и при таком количестве поездов оно не может быть не точным: они все наскочат друг на друга.

Большие залы были полны народом. Как и на других вокзалах, и здесь публика отобралась. Ясно чувствовалось «разделение»: это буфет «первого и второго класса», а это — третий класс. Мы сидели в отделении, так сказать, «для мягких» и пили чай. Яркое освещенная публика была в общем наряднее, чем в Киеве. Но все же совершенно иная, чем в Западной Европе. Проще, грубее, но теплее. мех, правда, дешевый, доминировал. В национальном вопросе нужно отметить опять ни с чем несуразный процент евреев. Но все же — это только «процент». Несмотря ни на что, основная стихия в Москве — русская.



Сказать несколько слов о своей собственной психологии? С тех пор, как я обрил свою старозаветную бороду и надел фуражку с желтым козырьком, я чувствовал себя совершенно мимикричным. Мне опасным мог быть только какой-нибудь человек, который видел меня в эмиграции. Но встреча с таковым была весьма проблематична. Поэтому я вращался в этой толпе довольно спокойно. Кроме того, я ведь находился под неусыпным наблюдением моего нового друга.

Однако, не доходя до Казанского вокзала, мы эмансипировались.

\* \* \*

В вагоне мы ехали также поодаль друг от друга. Вагон был теплый и сравнительно чистый. Публики было много. Мы доехали совершенно благополучно. Куда — я не знал. Он мне сказал следить за ним и выйти, когда он выйдет.

Вышли. На перроне был опять тот же человеческий кипятик, на который я насмотрелся в Москве. Очевидно, они высыпали сюда солидной пригоршней. К проходу, где контролировали билеты, теснилось сплошное месиво. Пролезая в этом тесте, я заметил, что сейчас же за железнодорожным контролем стоит достаточное количество людей в военной форме, т. е. в серых шинелях, со стрелецкими лацканами, в «кубанках». Они рассматривали публику привычными, равнодушно-зоркими глазами. Скользнули эти глаза и по мне.

\* \* \*

Считаю, что одной из существеннейших и важнейших прорех старого строя было пренебрежение к спорту. Если советская власть сему покровительствует, то слава Богу. В свое время советская власть, совершив ей положенное, улетучится, а мускулы, легкие и сердца останутся.

Спорт, по-видимому, поощряется здесь во всяких видах. Советчики прекрасно разобрали то, чего не могло понять царское правительство: что спорт отвлекает от политики. И это по двум причинам: во-первых, потому что спорт направляет мысли, так сказать, в другое место, а во-вторых, — потому что, укрепляя тело, делает менее злобными души. В политику в очень большом числе случаев вовлекаются «злобствующие». Чем человек болезненнее, тем ему все кажется хуже и тем более он инстинктивно ненавидит тот мир, «старый» иль «новый», который его до сей

болезненности довел. Известна злобность, переходящая в садизм, всякого рода дегенератов. Это что? Это бессознательная мстительная ненависть ко всему вообще миру, — миру, превратившему человека в выродка.

Свои наблюдения над этой стороной советского быта я делал не только из окошка брошенного в снега домика. Я прочитывал советскую печать. Спорт — серьезный интерес советской жизни. Есть несомненное повышение деятельности в спортивной и смежных с этим областях. Русское население, деспотически отодвинутое от возможности что-нибудь делать в политике, стремится куда-то убухать накапливающуюся энергию и инициативу. В значительной мере она сейчас идет по пути спортивному, техническому, научному. У меня такое впечатление, что под ужасно неудобным советским колпаком русская прикладная наука, например, что-то делает. Я не хочу сказать, что достигнуты большие успехи, но мне кажется, могу утверждать, что есть движение воды. Мне кажется, есть какое-то повышенное стремление, например, к «изобретениям».

Одной такой штукой я даже специально заинтересовался.

Прочел я в «Красной газете» («Красная газета» как бы заменила «Биржевку»), что проф. Ковалев<sup>7</sup> изобрел какие-то аппараты, которыми возможно будет существенно улучшать акустику в концертных залах и даже просто улучшать голоса певцов или, вернее, их тембр. Этот вопрос меня давно, правда, чисто дилетантски интересует. Я даже убежден, что на почве аналитического разложения звука и затем синтеза его в нужных комбинациях будут в недалеком будущем достигнуты удивительные новшества. Имея много досуга в свое домике, я написал в «Красную газету» письмо, вернее, маленькую статью, в которой убеждал «их», что давно пора создать совершенный звук, который, при желании, они могут назвать совсовзвук («совершенный советский звук»), и указывал «им» пути для сего. Подписался я какой-то невероятной фамилией, почерк изменил, но так как у меня не было уверенности, что они «совсовзвук» напечатают, то я просил переслать письмо проф. Ковалеву, в случае если редакция его не примет. Действительно, не напечатали. Но через несколько дней появилось «интервью с проф. Ковалевым», где я нашел отзвуки моего звукопонимания.

Тут, кстати, могу упомянуть, что в одном из ближайших номеров, в отделе «три строки», неожиданно прочел: «Небезызвестный черносотенный писатель В. Шульгин заболел язвой желудка». Я испугался. Ибо что такое есть «факт»? Факт, как известно, есть то, что мы вспоминаем или что предчувствуем. А

вдруг собственный корреспондент «Красной газеты» предчувствовал мою будущую болезнь? Но старушка кормила меня очень хорошо кислыми щами и вообще скромным сытным обедом, и «язвы» я не ощущал. В это же время в «Правде» стали меня припекать за какое-то место из моих «Дней». У меня было довольно странное ощущение. Мне казалось, что проф. Ковалеву надо сделать еще одно изобретение: определить, каким образом, забившись в снежное подполье, как мышь зимою, у моей старушки, — я все-таки лучеиспускал какие-то эманации, которые нервировали корреспондентов советских газет и бессознательно заставляли их что-то такое обо мне писать. Или они как-то смутно чувствовали мое присутствие?

Сидение в этом домике, отрезанном от всего мира, давало мне возможность странно сосредоточиваться на том, что меня невидимо окружало. Я читал эти советские газеты, и сквозь богомерзкую орфографию, сквозь подло-дурацкую коммунистическую «словесность» ко мне прорывался пульс России. Да, под этой внешностью (ибо это все-таки внешность) живет и трепещет русский народ. И когда так живешь, — там, с ними, проходит то отвращение к тамошней жизни, которое так характерно для эмигрантской психологии. Ортодоксальный эмигрант даже просто не верит, что в России есть жизнь и что эта жизнь может представлять свои интересы, огорчения, радости, поражения и победы. Издали кажется, что все это вымазано одним тоном, нестерпимо гадким. А это не так.

Советская власть — советской властью. А жизнь — жизнью. И, сидя там, я понял, что можно, например, и при советах работать над каким-нибудь изобретением или научным трудом. Или даже просто жить, увлекаться, страдать и радоваться, мало обращая внимания на советскую власть. Или даже очень обращая, но так, как тяжело больной человек, который уходит от своей болезни, сосредоточивая свой дух в других областях. Есть больные, которые ни о чем другом не могут говорить, как только о своей болезни. Если они при этом интенсивно лечатся, то это хорошо. Но если они и не лечатся, а только хнычут, то это ни к чему. Пусть лучше забывают о болезни.

Так, недолго прожив в этой обстановке, я стал до известной степени понимать психику подъяремных советских людей. Я стал помимо своей воли интересовываться некоторыми явлениями жизни. Меня заинтересовал Ковалев, заинтересовало распространение радио, заинтересовали аэросани, заинтересовала какая-то колясочка с пропеллером, которая будто бы летом бешено носится по шоссе.

Я это пишу потому, чтобы передать (хотя чувствую, что делаю это очень плохо) — как можно всеми силами души быть против советской власти и вместе с тем участвовать в жизни страны: радоваться всяческим достижениям и печалиться всяким неуспехам, твердо понимая, что все это — актив и пассив русского народа как такового. Ибо он был, есть и будет еще века, а советская власть есть не более как печальное приключение, грустный эпизод тысячелетней русской истории.

Словом, я мысленно уже переходил в психологию «приспособившихся». Я вполне представлял себе уже, как под каким-нибудь псевдонимом я мог бы вести какое-нибудь дело, которое признавал бы полезным для России, пройдя школу лицемерия в отношении властей предрержащих, каковая для такой позиции необходима. То, что казалось мне совершенно невероятным в эмиграции, удивительно просто формировалось здесь. Ибо какой же выход? Злобно сидеть в подполье и ничего не делать? Или же делать все то, что позволяют обстоятельства? Первый выход — ни к чему. Второй есть что-то. Конечно, самый лучший выход — третий. Это одной рукой участвовать в жизни страны, делая все, что можно, а другой, понимая брэнность советской власти, готовить ей, в подполье, преемников. Идеал — «коварно-приспособившиеся». Впрочем, еще вопрос: коварство ли это? Или это просто знание того, что неизбежное неизбежно...

## XIX ЧАСТУШКИ

Василий Степанович жил неподалеку, т. е. через две станции. Я часто к нему пробирался. Нужно было идти через бесконечные дачи, где огромные елки и длинно-свесившиеся березы жадно ловили иней, одеваясь в белое... Кстати, бывала нередко луна, придававшая всему этому совершенно фантастический характер. Мороз свирепел и перешел за 20 градусов по Реомюру. Снег хрустел за версту под моими высокими сапогами и блестел, как будто бы вся местность была сделана из рафинада. Нужно было пробираться на вокзал, где толкучка бедно, но тепло одетых местных людей перемешивалась с теми, кого сюда выплеснула Москва, преимущественно евреями. В зале ожидания было тепло и дымно, и сесть было негде — так много народу. Сквозь толпу шныряли геписты в кубанках.

Я помещался где-нибудь за столиком, в тени, избегая очень мозолить глаза. Подходил один из бесчисленных поездов, и че-

ловеческая гуща, скользя по обледенелым ступеням, вливалась на перрон. Прорезая лунно-сахарную ночь желтыми красивыми огнями, лихо подкатывал поезд, ловко останавливался. Люди штурмовали вагоны, стараясь забраться поближе к середине, ибо в середине поезда помещался вагон-печка, который отапливал все вагоны, но ближайšie лучше.

Две остановки, и я у цели. Опять елки, белыми зубцами подпирающие спящее небо, иней-сахар, таинственно-мерцающей алмазной пылью посыпавший мир, и ряд уютных домиков, кладущих неизъяснимой красоты оранжевые узоры из пряничных окон на билибинский снег.

В один из таких домиков я стучал и, порядочно подмерзший, был впускаем в темные простые сени. Пройдя их, входил в крохотную комнатку, где он жил вдвоем с женой.

Это были люди, так же, как и я, пришедшие из эмиграции. Но они пришли сравнительно давно, акклиматизировались здесь и, как все мои новые друзья, работали на контрабанде. Этому делу они были преданы беспредельно и совершенно им поглощены. Они пробирались сюда самостоятельно, не так, как я, которого, можно сказать, перевели под руки. И была эта повесть полна самых ужасных приключений, которые, впрочем, рассказывались (говорила больше она) весьма веселым тоном.

Трое суток скитания по лесам, ночь, проведенная по пояс в болоте — все глубокой осенью — это была *la moindre des choses* \* в этих рассказах.

Я слушал их с величайшим интересом еще и потому, что они шептались в довольно характерной обстановке. Перегородка тут была такая же, как и у меня, т. е. со щелями вверху и внизу, так что каждое слово было слышно в соседних помещениях. А соседи были у нас такие. С одной стороны — старшее поколение, отец и мать, так сказать, отжатые в кухню. Они мало значили в своем доме, но, конечно, и им контрабандистские рассказы не могли быть доверены. А с другой стороны, каждый вечер собирался «комсомол». У них были дочки, и вот к ним наваливалась компания таких же девушек и соответствующее количество парней. Все это вопило за стеной, преимущественно в музыкальном направлении. Когда они заводились, можно было говорить, но строго захлопывая рот в минуту пауз. Шептать можно было, но тоже с опаской, ибо шепот мог навести на подозрения.

И мне нравилось это. За стеной звенела гитара, и женский голос выводил частушки. Разухабистые, они пелись на какой-то

\* пустяк (фр.). — *Ред.*

минорный мотив, однообразно повторяющийся. Содержание их было фабрично-идиотское, вроде:

Я у зеркала стояла,  
Сама себя видела,  
У подруги я отбила,  
Бедную обидела!..

После такого заявления, деланно-вызывающего, не следовало никакого взрыва веселья. И вообще, ничего, относящегося к «этому делу». Refrain \*, так сказать как бы отбивался по обязанности (должно быть, так они понимали свою дань «ленинизму»). Затем начинался общий разговор. Единственным ценителем певицы был только один голос, очевидно, парня и, очевидно, сугубо болвана. Вероятно, желая выразить свое обожание, он после каждого куплета закатывался каким-нибудь бессмысленным апострофом.

Поехав сверху вниз по гамме, как бы поставив этим способом нестерпимо глупый восклицательный знак, он принимался ржать. В этом его никто не поддерживал, но никто и не мешал. Видимо, к этому шуту все там привыкли.

Прасковья Мироновна (так она себя называла, и так это к ней подходило, как лапти к шелковому чулку) — продолжала свои болотно-лесные ужасы.

— А в речку, помнишь, как ты провалился!.. Лед шел. Можете себе представить. Зато потом, когда добрались до жилья. Какое блаженство! Вымыться. Самое ужасное это болото. Все было черное, липкое, грязь по всему телу...

За стеной звучало:

На столе стоит цветок,  
Туда-сюда клонится,  
За хорошею девчонкой  
Все мальчишки гонятся!..

После чего идиот закатывался.

— И вот, — продолжала Прасковья Мироновна, — вы понимаете, как нам повезло. В этом доме была ванна. А впрочем, бросим... Послушайте, я хочу вам сказать, что я с вами не согласна, совершенно не согласна. Мне кажется, что вы ужасно ошибаетесь в этом вопросе...

Ах, Боже мой! Наш «эмигрантский крест» я принес и сюда с собой. И здесь мы спорили. О чем? Неужели, чтобы кого-нибудь любить, надо кого-то ненавидеть? А гитара дзинкала за стеной:

\* повтор (фр.). — Ред.

Я собою некрасива,  
 Некрасив и мой наряд,  
 Но не знаю, почему уж  
 Много гонится ребят!..

И болван за стеною «поддерживал».

На этот раз певица подарила нас еще несколькими куплетами:

Ты не думай, что красив,  
 Я тобой не дорожу:  
 Я такими ухажерами  
 Заборы горожу!..

Но затем оказалось, что, по-видимому, «он» тоже ею не дорожил. Впрочем, она утешилась:

Изменил, так наплевать,  
 На примете еще пять,  
 Неужели из пяти  
 Такой дряни не найти?!

Тут ее поклонник заржал с особым усердием. А мы продолжали шептаться на темы, то острые, разъединяющие, то, наоборот, спаивающие и во всяком случае волнующие. Конечно, они были контрабандисты, но вся политическая жизнь по ту и по другую сторону их живо интересовала. Они влачили существование, на которое страшно было смотреть, потому что оба кашляли. Она только что переходила на ногах воспаление легких в этом карточном домике, где можно было кое-как натопить, но к утру мороз забирался во все щели. Между загнанными в угол стариками и расхулиганившейся молодежью — они вдохновенно и цепко мечтали о какой-то новой России.

И этот наш шепот между этими двумя берегами порою приобретал просто мистический характер. Ведь так оно и есть! Ведь так оно будет, если что-нибудь будет. Именно между обессиленным Старым в зазнавшимся Новым станет это Среднее, которое разобьет дзинкающую гитару на дурацкой голове комсомола, выгонит трусливых родителей из-за печки и заставит тех и других жить по образу Божию и подобию!

\* \* \*

Шел я в этот очень морозный день посмотреть сенсационную вещь, о которой советские газеты кричали с утра до вечера. По их мнению, это верх кинематографических достижений. Это фильм «Броненосец Потемкин-Таврический»<sup>8</sup>. Пришел в огром-

ное здание, где одновременно синема идет в трех залах. Кажется, это «первое — госкино». Плата до 6 часов вечера 50 копеек, а позже дороже. Крутят здесь синема с 12 час дня до 12 час ночи. У кассы много народа. В зале ожидания — толпа. Наконец, впустили. Началось.

Лента изображала броненосец, собственно, кухню броненосца. Матрос-повар нашел в мясе червей. Публике преподносится отвратительное кишение этих гадов: вероятно, в ателье их долго и любовно разводили. Пришел судовой врач. Неизвестно почему, сей судовой врач утверждает, что никаких червей нет. К этому присоединяется и дежурный офицер. С точки зрения исторической правды все это глупо до нестерпимости. Кто немножко знает военный быт прежнего времени, не представляет себе врачей и офицеров, которые без всякой надобности «не увидели» бы червей, тем более это было невозможно на флоте. Известно, как «цацкались» у нас со флотом, вызывая иногда справедливую ревность других родов оружия. А в особенное в то время, в эпоху первой революции. Чтобы что-нибудь подобное сочинить, нужно быть твердо уверенным в невежестве зрителя. К этой нелепице присоединяются и остальные офицеры и командир судна. Черви кишат, и никто из офицеров их не видит.

Из этого, мол, рождается бунт. Это неосторожно. Все остальное, т. е. возвеличивание броненосца и взбунтовавшихся матросов как героев освобождения выходит, благодаря червям, подрезанным в самом основании. Ни о каком «пролетариате» матросы, оказывается, не думали, а просто не хотели кушать червей.

Затем идут варварские сцены избиения офицеров, глумление над убиваемым священником. Но некоторые из офицеров дерутся, как настоящие герои, в одиночку, против зверской отвратительной матросни. Конечно, авторы хотели другого, но не выходит...

Поставлено все это грубо, в смысле эффектов, но тщательно — в разработке деталей, с явным применением русской реалистической школы.

Есть картины удивительно, на взгляд, красивые. Например, когда целая флотилия одесских парусных лодок бросается к броненосцу, стоящему в море.

Отвратительные сцены расстрела бунта высмакованы всласть, Особенно распространились насчет гибели несчастных старушек и невинных матерей с младенцами на руках. Заключение совсем нелепое. Броненосец «Потемкин», как известно, никаких геройств, кроме варварского убийства своих офицеров, не совершил. Теснимый остальной черноморской эскадрой, он удрал в



Румынию, где матросов разоружили, а корабль отдали России. Сей неблестящий эпилог отвратительного начала изображен у большевиков как некий подвиг. Так, босяк, которому набили морду на базаре, величественно отходит, приговаривая:

— То-то!..

Но из этого фильма можно кое-чему научиться. В особенности извлекут практические уроки из него современные матросы, которые, весьма возможно, будут и некогда «красой и гордостью контрреволюции».

Они вновь научатся, как делать восстания из-за «скверной пищи». Эта традиция, как известно, идет из каторги и острогов, где она твердо исстари установлена. Она обильно применялась и в 1905 году. Применялась, между прочим, и в Киеве во время так называемого «саперного бунта». Во всех этих случаях пища была превосходная. Из этого следует, что советская власть может очень хорошо кормить красных матросов, и все-таки они взбунтуются.

А как они поступят с офицерами? С «красными командирами»? К сожалению, и этому фильм обучает. Я не кровожаден, и повторение пройденного мне совершенно не улыбается. Я бы очень хотел, чтоб даже с красными командирами так не поступали. Но советские крутильщики, очевидно, задались целью разжечь кровавые страсти на свою голову. Что ж, если Бог хочет наказать, Он отнимает разум.

\* \* \*

В этот день мороз загнал меня вторично «под крышу», на этот раз в кабак. Это было помещение, где, можно сказать, яблоку некуда было упасть, но куда я все-таки всунулся. В воздухе стоял сизый дым, сквозь который четыре девы, стоя на эстраде в фантастических костюмах, — нечто вопили. Это нечто оказалось некое мистическое слово — «Мосельпром». Они воспевали его в разных вариантах:

О, Мосельпром, о, Мосельпром!  
 Перевернул ты все вверх дном:  
 Исчезли беды и напасть,  
 Жизнь наша стала просто сладь.  
 О, Мосельпром, о, Мосельпром...

При этом они дрыгали ножками и ручками.

Я посмотрел кругом себя, что спрашивают. Увидел, что дуют водку и пиво, причем с пивом подаются какие-то кругляшки.

Пиво оказалось скверным, кругляшки — сырым горохом, а Моссельпром «московской сельской промышленностью». Девы, очевидно, казенные. Это — советская реклама.

Потом появился мужской хор, который очень недурно пел какие-то песни. Публика подвывала и вообще вела себя неприлично. Была она мрачно пьяная, надрывно пьяная, как бывают русские. Здесь не было веселья, а было мутное опьянение. Но между собой были вежливы. И это меня поразило. Конечно, это может быть слишком смелое обобщение, но у меня вообще такое осталось ощущение, что в России меньше недоброжелательства друг к другу, чем было раньше. Человеческая злоба идет куда-то по определенному руслу, не в бок, не во все стороны, а в одну точку, вверх.

А «друг в друге», если можно так выразиться, человек как будто видит такого же пострадавшего, как он сам, человека. Есть какая-то «шпанская» солидарность в современной России. В сущности — она вся — только одно огромное подполье. В нем некоторые мыши просто прячутся, но другие грызут советские стены. Но все-таки они — мыши и все дружны между собой «по отношению» к советскому коту.

Над подавляющим большинством тяготеет мысль: «Сильнее кошки зверя нет». Но небольшая часть уже знает, что и на кошку есть управа.

Пусть это мое наблюдение в тысячу раз преувеличено: но уменьшите его до микроскопического масштаба, и все-таки это будет нечто большое...

\* \* \*

Не помню, в какой день я переоделся. Дело в том, что мой синенький пиджачок и штаны с полоской не клеились с моим «положением». Я зашел в один из магазинов на Тверской, в котором было выставлено готовое платье. Я, собственно, наметил себе некий «дантон», полагая, что это сейчас самое модное. Но «дантона» не оказалось по росту, и я купил себе просто синюю «толстовку» за 18 руб. Толстовка эта ничего не имеет общего с той рубашкой, которую носил граф Лев Николаевич. Она, скорее, походит на френч, но, пожалуй, более удобна. В дальнейшем я убедился, что в носке сия толстовка весьма приятна: не стесняет движений и прочее. Поэтому я с неудовольствием прочел в «Красной газете», что на диспуте, собранном в Ленинграде со специальной целью обсуждения толстовки и пиджака, победил последний. Знатоки заявили, что, мол, в складки толстовки заби-

вается пыль. Может быть, оно и так, но не скажу, чтобы пиджачный костюм, который изобрели английские квакеры со специальной целью себя обезобразить, не отвечал своему первоначальному назначению. Я, по крайней мере, на костер за пиджак не пойду.

Там же я купил себе штаны-галифе. Мне рассказывали, между прочим, что в былое время галифе были мечтой всякого буденовца. И такой степени, что слово «галифе» стало у них в ходу и употреблялось в самых неожиданных случаях. Известно, что Богдан Хмельницкий, обращаясь на Переяславской Раде<sup>9</sup> к тогдашним «дядькам», вопрошал их: «Все ли тако соизволяете?» И они отвечали громовыми голосами: «Все, все, все». Буденовцы же, когда им ставили подобный вопрос, конечно, не на счет присоединения Малороссии, а насчет ее ограбления, отвечали: «Галифе, галифе, галифе!» — что означало высшую степень согласия.

Так вот такое согласительное галифе я себе купил тоже за 18 руб., итого 36, итого 18 долларов — сумма, за которую в Париже я мог бы себе купить совсем шикарный костюм и даже паршивенький смокинг.

Частник, у которого я покупал, был со мной обворожительно любезен. Оно и понятно. Надо же чем-нибудь обернуть дороговизну.

\* \* \*

Кстати, о частниках. Теснимые сверху, они, естественно, главным образом, захватили низы. Кажется, нигде в мире нет столько уличной торговли, как в России. В Москве по сему поводу постоянно совершается на глазах у всего населения глупое безобразие. Дело в том, что наиболее выгодно оказалось торговать «на ходу». По какому такому закону, я хорошенько не знаю, но, словом, этим несчастным людям не разрешается «доторкнуться» до земли. Опасаются ли большевики, что все торговки — переодетые Антеи, и что если баба поставит корзину на землю, то она сразу приобретет такую силу, что перевернет Мосельпром вверх дном, — но, словом, образовалось целое сословие, «которое ходячее». Конечно, они иногда не выдерживают и нет-нет останоятся. Однажды я, изумленный, увидел, как от тротуаров хлынули целые цепи. Они бросились бегом на площадь, с корзинами и лотками в руках. Так мечутся пескари от щуки — на берег. Щукой оказался конный милиционер. Он показался из-за угла и довольно равнодушно, очевидно, привычно, взирал на эту картину. Убежав на площадь, все эти молодые и старые, мальчишки

и старушки, глядели на милиционера совершенно с детским вызовом:

— А тут ничего нам не сделаешь!..

Потому, ежели какой «под тротуаром», тот наверняка, подлец, корзину на панель поставил. А кто на площади, тот, значит, правильный человек — «ходячий».

Премудрость...

\* \* \*

Жестокий мороз, должно быть, разогнал «беспризорных детей» по каким-нибудь совершенно невообразимым трущобам. Или действовала какая-нибудь другая причина, но я не видел их так много, как ожидал. Однако каждый раз, когда мне приходилось ехать в подмосковном поезде, я видел одну и ту же картину. Тихонько растворялась дверь вагона, и двое-трое мальчишек с типичными лицами прокрадывались внутрь. Один оставался тут же у этих дверей, другой занимал пост у дверей противоположных.

Они принимали эти меры предосторожности потому, что приказано было их всячески излавливать. Третий, обеспечив себя и с тылу, приступал к концертному отделению. Под звук колес он пел резко хриплым мальчишеским альтом какие-то песни. Не всегда можно было разобрать слова. Однажды я выслушал длинную сентиментальную любовную историю, сервированную à la Соломко, т. е. с применением старорусской бутафории. В другой раз это была какая-то, кажется, довольно известная песня про Россию, как ее погубили. Что-то и про Деникина там имеется. Были они, мальчики, собственно, оборваны. Закутаны в лохмотья. Кончив петь, обходили с шапкой. В общем публика давала им копеечку. Иные заговаривали с ними. Без всякой сентиментальности, но и без грубостей. В зависимости от индивидуальности: одни — с оттенком жалости, другие — на предмет позабавиться ответами зверьков, почему-то владеющих человеческой речью. А в общем к ним так привыкли, что особого внимания на них не обращают.

Один раз я видел, как станционный гепист (современные жандармы) поймал такого мальчишку. Он тащил его куда-то, высокий, серый, а около его ног отбивался десятилетний клубочек из ножек, ручек и лохмотьев. Кажется, он даже пытался кусаться. Серый не бил его а только тащил профессионально-равнодушно-неумолимым движением. Кто-то сказал:

— Все равно убежит!

Это правда. Милиция вылавливает их и препровождает в особые дома, откуда они убегают немедленно. Не знаю, дома ли так хороши, что ужасная их доля «на свободе» кажется им лучше, или же что другое. Почему дикий зверь стремится в лес, хотя человек предлагает ему пищу, кров и все такое? Несомненно, что по отношению к таким детям требуется система терпеливого приручения. Кто подойдет к ним с поверхностным сентиментализмом, тот через короткое время их возненавидит. Но тот, кто имеет столько любви, что способен жалеть змеенышей и тигренков, тот может отвоевать часть из них у каторги и виселицы.

Как-то я видел их передвижение по Москве. Это была стайка детей душ тридцать. Я ехал в трамвае. А они бежали по панели. И почти не отставали. Мороз был сильный. Такой бег, может быть, для них, при их экипировке, единственный способ не замерзнуть. Я наблюдал, как они ныряли в толпу, когда она попадалась на их пути. На несколько мгновений они совершенно пропадали из глаз среди взрослых. Так стая гончих исчезает в лесу. Но вот прогалинка, лужайка, т. е. — где толпа реже. И там я улавливал их снова, — маленькие, оборванные, бегущие фигурки. Вот открытая площадь. И они вынырнули на мостовую всей стайкой, не уменьшившись в числе, очевидно, прочно спаянные какой-то своеобразной организацией или общей целью. Позже я как-то видел известный фильм «Воробьи». Да, в этом роде стайка, но только, увы, без ангела-хранителя во образе хорошенькой американки Мери Пикфорд<sup>10</sup>. Найдутся ли — не для синема, а в действительной жизни, — для них, для беспризорных русских детей, такие спасительные ангелочки? От коммунистических мегер сего ожидать трудно.

#### XXIV ПЕТРОГРАД

На вокзале меня приветливо встретил один из моих новых друзей. Мы прошли, не задерживаясь, бывший Николаевский, а ныне Октябрьский вокзал. Множество извозчиков, как и всегда раньше, боролось за приезжающих. По петербургскому обычаю мой спутник самоотверженно торговался. Он проходил с решительным, неостанавливающимся видом мимо задков саней. Извозчики в Петербурге, или, скажем, в Ленинграде, сейчас куда лучше московских. И наряднее, и кони бойчей. Первый мой взгляд был, естественно, обращен на площадь. Стоит ли памятник Государю Александру III?

Стоит. Меня это одновременно обрадовало и огорчило.

\* \* \*

Это было лет пятнадцать тому назад. День был весенний и нарядный. Кругом всей большой площади стояли шпалерами войска в самом торжественном уборе, с развевающимися знаменами. Вокруг этого живого барьера была несметная толпа.

Ждали Государя. И вот наступила торжественная минута. Медь заструила гимн, которому аккомпанементом был непрерывный рокот войск. Это «ура», действительно, напоминало шум моря.

Государь проходил вдоль линии и, приближаясь к знаменам, отдавал им честь, а великолепные шелковые прапоры медленно склонялись при его проходе.

Это было потрясающе красиво. Потом были какие-то еще церемонии, церемониальные марши, одна часть проходила с задорными свистульками, смеявшимися голубому небу. И можно было сразу различить всех хохлов в этой несметной толпе. Играли известную малороссийскую песенку «Ой, за гаем, гаем», и даже каменно-торжественные конные городовые, статуями возвышавшиеся над толпой, кое-где улыбались в усы.

Этот день мог бы быть апофеозом Империи: он собрал на свою палитру только радостные краски самодержавия. Но кончилось это, увы, чем-то, что нельзя назвать иначе, чем оскорблением величества...

\* \* \*

Серые покрывала, закутывавшие огромный памятник, внезапно куда-то смылись. И вот перед глазами исполинская бронза на гранитном постаменте с надписью: «Строителю Великого Сибирского Пути».

\* \* \*

Да, велик был этот путь — десять тысяч верст, в океан Азии, через непролазные и неприступные тайги, и стоило поставить памятник его строителю.

Но кого же мы увидели вместо мощного императора, перед которым «дрожала Европа».

Увы! Не Государя во всем величии своего бескровного царствования, на мощном коне, достойном тяжеловесной, но великой России, мы увидели какого-то обер-кондуктора железной дороги верхом на беркшире, превращенном в лошадь.

Ужасно...

\* \* \*

Я помню негодование, помню боль. «Новое время» и частично Государственная дума подняли кампанию за то, чтобы немедленно ассигновать миллион, снести памятник, поставить другой.

Но стали говорить, что Государь одобрил проект, вопреки комиссии под председательством графа Витте<sup>11</sup>, которая его забраковала...

Как это случилось, одному Богу известно.

\* \* \*

Уже в эмиграции я узнал из посмертного дневника Паоло Трубецкого<sup>12</sup>, что это оскорбление России и династии было им сделано умышленно. Совершенно оторвавшийся от России, он тем не менее был напичкан бессмысленной ненавистью оппозиционной русской интеллигенции к Александру III. И вот заплатил ему «долг благодарности», взяв в натурщики для изображения царя на коне большого ростом солдата из пехотного полка. Солдат этот потом служил швейцаром в Государственной думе, мы все его каждый день видели...

\* \* \*

Как передать это чувство? Если Москва была мне всегда немножко чужая, то в этом Петербурге я прожил десять лет, и это сказывалось. Это волновало.

Я жадно ловил прежнее. Он, Невский, после Москвы, казался мне необычайно красивым и величественным. Широкий, спокойный какой-то.

Здесь не было того сумасшедшего движения, той всероссийской толкучки, того потока, бурливого, но полугрязного, который не вмещается в узкие, кривые, московские улицы.

Здесь было величие великой Эпохи, свежескончавшейся. Новая жизнь как бы с известной опаской, с известным уважением только еще начинала струиться по улицам, где еще, казалось, недавно скакал Медный Всадник.

Вот великолепные юноши и кони Аничковского моста. Сегодня изморозь взяла их, и они из матово-черных стали искристо-белыми. Вот памятник Екатерине, нетронутый и прекрасный.

— Если бы вы знали, какие тут летом цветники. Представьте себе, что мы помешаны сейчас на цветах. Да, да...

Вот Казанский собор с его удивительной колоннадой, и Барклай-де-Толли да Кутузов по-прежнему «спасают Россию от французов».

Конечно, это не прежний Петроград, но уже и не «пустыня», как я ожидал его встретить. Нет, нет, и здесь жизнь латает старые раны.

Будет ли когда-нибудь он столицей опять? Кто знает.

Но он ею был! И это чувствуется, этим веет от каждого камня. Вот огромный дом Зингера<sup>13</sup>, с бронзовым колпаком, вроде шапки Мономаха на челе, т. е. я хотел сказать: на углу. Сейчас он превращен в колоссальный книжный магазин, который, кажется, называется «Всекинига» или что-то в этом роде.

Вдали показалась Адмиралтейская игла. Трудно решить, что красивее, Пушкин или этот шпиг, который он воспел.

— Стой, извозчик, налево!

Да, я хочу к Исаакию. Нельзя его не увидеть, и надо увидеть поскорее. Вот!

Никогда, кажется, он не был так красив. Может быть, эта красота покупается тем, что с ним случится какая-то беда, но только в первый раз в жизни я его увидел совсем без лесов. Он совсем чист и сейчас как бы весь выточен из белого мрамора. Это потому, что мороз взялся сверху донизу и сделал его таким. Эта белая изморозь как бы легла для того, чтобы резче выделить самую идею этого храма. Так, должно быть, бывает во время марева в пустыне или на океане, когда мираж показывает сказочные города, храмы, освобожденные от пут вещества, взятые только как идеи; как некие геометрические мысли, как некие платоновские чертежи.

Такого храма нет в Европе. Он не православный, не католический, не протестантский: он храм Богу Единому. Он взят именно как идея, идея возвышения над местным, над преходящим, над временным, над «сепаратизмами», сколь величественными они ни казались бы тем, кто их переживает...

Напротив Исаакия по-прежнему стоит Николай I на темном фоне Мариинского дворца. Только традиционных часовых в невероятных исторических уборах уже нет.

Пустяки. Поставить часовых нетрудно. Трудно поставить такой памятник, каким является этот город.

\* \* \*

Поездив еще немного, мы отправились в гостиницу. Очень приличная гостиница. По-старому приличная. Внизу был швей-



цар как швейцар, затем мы попали в бюро, где какая-то барышня и молодой человек (молодой человек гораздо менее чекистского вида, чем в Москве и Киеве) просили предъявить документ. Затем отвели номер за три с полтиной, прекрасный номер с зеркальным шкафом, с весьма приличной обстановкой, темноватый, как и полагается в Петербурге, без всяких новейших выкрутасов вроде яично-желтых письменных столов, шифоньерочных стульев и всякой такой модернистской дряни. Все солидное, темное, подержанное. И ковер такой же на всю комнату.

По бесконечным коридорам мы вышли опять на улицу. Мне не терпелось.

Вернулись на Невский, еще полупустой в этот ранний час. Зашли в какую-то не то кофейню, не то кондитерскую, где был хорошо натертый паркет и совсем чистенькие, нарядные барышни, как полагается в таких учреждениях. Они дали нам очень хорошего кофе, с очень вкусными пирожками, за очень зверскую цену: что-то рубля полтора это обошлось. Положительно в этой республике не стесняются с деньгами. Но, к сожалению, ни рабочих, ни крестьян за мраморными столиками не заметил. Все были какие-то личности интеллигентско-спекулянтского вида.

Затем я отправился по Каналу на призывный привет ярких куполов храма, «что на крови».

Дивной мозаики, разумеется, не удалось испортить. Храм был открыт, шла служба. Говорят, тут всегда идет служба. Место трагической гибели Александра II привлекает людей и по сию пору. Между четырьмя колоннами, под тяжелой куполообразной шапкой, кусочек сохраненной мостовой рассказывает приходящим нечто такое, от чего они не могут оторваться. Не помню, в какой книжке и на каком языке, я однажды прочел такую фразу:

«Русские имеют обыкновение убивать своих Государей...»

Ничего более ужасного в жизни своей я не читал. Ибо — это правда...

\* \* \*

Оттуда я прошел на Марсово поле. Передо мной была огромная площадь, вся засыпанная снегом, прячущая свои отдаленные очертания в сероватой дымке петербургского дня. По тропиночке в снегу я пошел к чему-то посреди площади, о чем я уже угадывал, что это должно быть.

Да, так и есть. Это то место, где впервые были отпразднованы так называемые «собачьи похороны». Здесь были зарыты без

креста и молитвы так называемые «жертвы революции». Около ста человек, погибших во время февральского переворота, причем в число павших героев, говорят, попали всякие старушонки, никому не ведомые китайцы и прочие случайные личности, случайно погибшие во время перестрелки.

Так легко далось на сей раз свержение старого режима, «кровоавого и тиранического». Погибло несколько десятков людей, и трехсотлетняя твердыня, забравшая под свою руку сто семьдесят миллионов человек и «сто одно» племя, рухнула.

Теперь им поставлен памятник. Если это можно назвать памятником.

Квадрат из стен, вышиною в человеческий рост, сложенных из больших гранитных камней. На этих стенах, вместе с именами погибших борцов, высечен всякий вздор, в назидание потомству.

Язвительнейшей насмешкой, издевательством, перед лицом которого, казалось, может захохотать самая мгла серого петербургского дня, звучат эти высокопарные слова на тему о том, что здесь лежащие погибли, дав народу «свободу, достаток, счастье» и все блага земные.

Миллионы казненных, десятки миллионов погибших от голода, доведение страны до пределов ужаса и бедствия и затем возвращение вспять. Тяжелое, ступенька за ступенькой, восхождение опять к тому же общему положению, которым жила дореволюционная Россия, к «довоенным нормам»...

Вот и весь смысл вашей революции, и ничего этот дурацкий квадрат над сотней бессмысленных жертв, считая в том числе старушек и китайцев, изменить не может.

\* \* \*

А в другом конце, охраняя вход на мост, стоит великолепный Марс, он же памятник Суворову.

\* \* \*

Я прошел через красивый Троицкий мост с его гроздьями белых шаров-фонарей, взглянул на замерзшую Неву, на кайму дворцов, на идеальный шпиль Петропавловского собора.

Трамвай бежал по мосту, и с него люди на одно мгновение, но с любопытством, взглянули на некоего «последнего из могикан», который одиноко брел вдоль парапета, на комиссарского вида

человека, в высоких сапогах, штанах-галифе и синей фуражке с желтым козырьком. Этот вышедший из моды тип, еще хранящий облинявшие заветы коммунизма, был я. О, ирония судьбы.

\* \* \*

И вот пошел, и пошел по бесконечному Каменноостровскому проспекту. Не хотел сесть в трамвай, хотел все измерить своими собственными длинно-сапожными ногами, раз нельзя ощупать руками. Заходил я часто в боковые улочки, знакомые и незнакомые... И тут я видел следы разрушения, которыми, как говорят, еще недавно щеголял весь Ленинград. Тут я видел заброшенные дома, разрушающиеся здания, уничтоженные сады, падающие решетки. Но главная артерия, Каменноостровский, уже ожила, здесь есть магазины, движение, люди.

В какой-то чайной, в подвальном помещении, я пил порцию чаю, с огромными пузатыми чайниками и очень небольшим количеством сахара. Ибо тут пьют вприкуску. Здесь я мог наблюдать, как же живет этот народ в рабоче-крестьянской республике, для счастья и благоденствия которого будто бы сделаны все всем известные ужасные преступления. Здесь я не был еще на социальном дне, но на низших ступенях. Тут были извозчики, бедные старушонки, рабочие и всякий другой такой люд.

Да, вот они результаты. Обыщите всю Европу, и таких чайных вы не найдете. Убожество, грязь, весь тот стиль, который при царях можно было бы отыскать только в самых отчаянных трущобах. Теперь трущоба поднялась вверх. Океан бедности залил несколько ступенек, тех ступеней, которые у него отвоеваны были царями. Вот и весь результат пролетарской революции для пролетариев, для «рабочих и крестьян».

Заплатив вместе с хлебом за все сорок копеек, я побрел дальше. Все дальше, дальше, по нескончаемому Каменноостровскому, столь знакомому, ибо мчаться на острова было когда-то единственным отдыхом затуркавшегося до одурения петербуржца.

Была мягкая погода, и пошел снег. Совершенно невозможно рассказать моим прозаическим и неуклюжим языком непередаваемую поэзию этого тихого дня. Этот снег, бесшумно падая белыми клочочками, вырисовывал каждую черточку, как бы именно для того, чтобы мне показать это все, чтобы ничто, самая укромная извилина, не укрылось, не спряталось. Он нес с собой какое-то необычайное спокойствие и беззвучно выговаривал какие-то нерассказываемые, утишающие слова:

Все было, все будет... Тишина, тишина...

Так шептал снег и проворными, быстрыми, непрерывными маленькими движениями надевал на Красный Ленинград белый венец.

К чему он готовил его, накрывая этой фатой? К смерти, к новой жизни?

\* \* \*

Я перешел еще мосты, прошел мимо знакомой часовенки, взглянул, как по Невке бежала вереница лыжников, и, взяв налево, очутился в зачарованном царстве загородных вилл, засыпаемых снегом. Я не встречал ни одного человека, и эта тишина усиливала впечатление.

Здесь, на взгляд, не так много разрушено. Здесь много домов стоит, как новые, или, может быть, они подновленные. Почему так опрятно сверкают зеркальные окна, как будто их только что вымыли?

Скоро я понял, в чем дело. Все то, что раньше называлось «острова», т. е. большое множество то нарядных, то роскошных, то попроче дач, захвачено коммунистической властью и превращено в «дома для отдыха».

Кто здесь отдыхает летом, я не знаю. Есть ли в них рабочие и крестьяне, или, как все в этой республике, и эти учреждения — «под псевдонимом», и здесь просто отдыхают члены коммунистической партии, т. е. современная аристократия? Вероятно, так.

Сейчас же не было никого, и судить я об этом не мог. Но держатся, видимо, эти дома в порядке, и нельзя не сказать, что неизмеримо лучше было поступить с ними так, чем бессмысленно разрушить и уничтожить. Кому пришла счастливая мысль сбечь таким образом ближайшие окрестности Петрограда, которыми он по справедливости может гордиться, не знаю. Но, по всей вероятности, это — заядлый контрреволюционер и белогвардеец.

Я шел по бесконечным аллеям, местами протаптываясь через свежий снег, и необычайная ласковость, теплота и уютность этого зимнего дня действовали мне на нервы. И я думал о том, будут ли владельцы, которым возвратят отнятые у них эти прекрасные виллы, будут ли они ими пользоваться лучше и больше, чем они это делали раньше.

Острова всегда были пустынно. Дачи большей частью принадлежали богатым людям, которые проводили лето в Крыму или за границей, а эти полудворцы пустовали в знаменитые петербургские белые ночи.

Когда такие дома пустуют, очевидно, они кому-то лишние. Но ведь место под Петроградом считано! И неправильно с высшей точки зрения, чтобы сии острова пустовали. *Sapienti sat* \*.

\* \* \*

Этак, пожалуй, прошел я в общем верст пятнадцать, и сил уж моих не было. С отменным удовольствием сел в трамвай № 2, который тут от века ходил. В трамвае скоро стала давка, какая-то гражданка усиленно мостилась мне на голову, но в общем было весьма благоприлично, ни скандалов, ни грубости, все, как приблизительно было раньше. Только публика много победнее, попроще, хуже одета.

Так доехали до Садовой. Я еще имел время до свидания с друзьями и пошел шататься по Гостиному двору. Не особенно удобно было мне рассматривать вывески, и я смотрел витрины. Было здесь все. И ювелирные магазины были. Всякие колечки, брошечки блистали золотом и камнями. Очевидно, рабочие покупают крестьянкам, а крестьяне — работницам. Но удивительно не это, а то, каким образом Чека не грабит эти магазины. Как она выдерживает искушение? Кто этих профессиональных грабителей так обуздал? Теперь они защищают священное право собственности «буржуазных хищников», таящихся за этими витринами. Дивны дела Твои, Господи!

Стоит, это, какой-нибудь несчастный пролетарий около окошка и вспомнит, как батюшка Ильич приказывал: «Грабь награбленное». И слезы у него текут из глаз...

Прошло, и никогда не воротишь золотое времечко. Шевельнись тут, и те же самые чекисты, ущевив тебя между коленями, будут поучать:

— Знаешь десятую заповедь? Что сказано, мерзавец? Сказано: «Не пожелай ничего, елика суть ближняго твоего». А что ж нэпман не ближний тебе? Как же не ближний, если Ильич приказал уважать. Какой народ несознательный, право?

\* \* \*

И иконы продаются. В дорогих ризах, и крестики, какие хотите, можете иметь.

Нехорошо только, что иногда так бывает: в одном и том же магазине в правом окне — иконы, кресты и все церковные при-

\* Умный поймет (лат.). — *Ред.*

надлежности, а в левом — всякие пятиконечные звезды, красные знамена и все такое коммунистическое, что из золота и парчи тоже делается.

\* \* \*

И автомобильчики прокатные около Гостиного имеются. Только бы денюгу иметь, хорошо можно пожить в граде Ленина.

\* \* \*

«Встреча друзей» назначена была в одном ресторанчике, в отдельном кабинете.

— Да-с, вы не думайте-с, — говорил мне приглашавший меня мой новый друг, — у нас здесь не Москва. Это в Москве отдельных кабинетов не полагается, по наивности думают, что за общими столами конспирировать нельзя. А здесь у нас умнее и тоньше. Отдельный кабинет? Сколько угодно!

Я вошел в знакомый вестибюль, посмотреть на аквариум, в котором плавали, очевидно, те же самые рыбки, что десять лет тому назад, по крайней мере, мне показалось, что я узнал одну стерлядь. И поднялся в кабинеты. Гражданин лакей весьма предупредительно провел меня в оставленную для сего комнату. Через несколько минут собрались все, кому полагалось, принесли закуску и карточку, причем лакей, как и в былое время, поучительно-уверенно склонившись, ласковым баском уговаривал взять то или это, утверждая, что сегодня «селянка очень хороша». Так как в хороших ресторанах они никогда не обманывают, то к этим указаниям нужно относиться со всем вниманием.

Водку закусывали икрой и семгой. Шампанского не пили — не по карману. Но его сколько угодно, и я даже заметил на Невском магазин, где надпись огромными буквами «Шампанские русские и заграничные».

Надсон когда-то писал о петербургских цветочных витринах, что они сияли из-за зеркальных окон

...своею наглою красой...

Что бы он написал в наше время про сие заграничное шампанское?..

\* \* \*

После ужина разошлись каждый в свою сторону, но мой первый спутник пошел меня провожать и вдруг сказал мне:

— Вы немножко осмотрелись в «нашем Ленинграде»? Ничего себе «мы» живем, правда? Плохо только, что ГПУ здесь свирепо работает.

Да, да, ведь об этом я как-то временно забыл. Это даже удивительно, как это легко забыть и как это опасно. Ведь в те времена, скажем в 20-м году, когда я жил под большевиками, вся жизнь была вообще сплошным кошмаром. И вот среди этого кошмара врывались по ночам в квартиры, грабили, бесчинствовали и затем голодных, изможденных, потерявших всякую силу сопротивления людей тащили в чрезвычайки и там расстреливали. Все как-то подходило одно к другому.

Но теперь, теперь было иначе. Вместо жутких темных улиц весело горит электричество, мы только что разошлись после хорошего «товарищеского ужина», в перспективе — спокойная ночь в гостинице, в удобной постели, в тепле и неге. И как-то мысль отказывалась верить в то, что под этой мирной поверхностью вод, тут же, сейчас же, бродят страшные акулы и что стоит зазеваться, и тебя нет. Да, весь лик России изменился с той поры. Но из этого не следует, что Чека, называемая нынче ГПУ, не работает и не уносит своих жертв. Она только делает это сейчас гораздо тоньше и умнее.

\* \* \*

— Хотите, я вам покажу еще для полноты впечатлений один бар? Вы не думайте, у нас «бары» есть. Русских перерезали, но американские завели!

Пошли мы по Невскому и взяли направо, кажется, по Михайловскому. Словом, здесь в былое время была какая-то мирная не то кофейня, не то кондитерская.

Теперь не то. Сразу меня оглушил оркестр, который стоит самого отчаянного заграничного жац-банда. Кабак тут был в полной форме. Тысячу и один столик, за которыми невероятные личности, то идиотски рыгочущие, то мрачно пропойного вида. Шум, кавардак стоял отчаянный. Это заведенье разместились в нескольких залах. Но всюду одно и то же. Между столиками шлялись всякие барышни, которые продают пирожки или себя *ad libitum* \*. Время от времени сквозь эту пьяную толпу проходил патруль, с винтовками в руках. Я заметил трех матросов, которые с деловым видом путешествовали из зала в залу.

— Что это? — спросил я.

---

\* по желанию (*лат.*). — *Ред.*

— А это, видите ли, «внешкольный надзор». У нас ведь доблестному воинству разрешено свободно, в неслужебные часы, куда хочешь. Но зато есть всегда и дежурные патрули. Они безобразников своих вылавливают и отводят. А впрочем, мы очень неудачно пришли. К величайшему сожалению, я не могу вам показать этого места во всей красоте. Тут редкий день обходится без колоссального скандала. А бутылки здесь заместо междометий. Летают! Оно, впрочем, и к лучшему. Просто не безопасно. Развлечения его величества пролетариата бывают иногда очень экспансивны и непосредственны. Но все же вы можете заключить, что если русский человек желает выпить, то ему в Ленинграде «есть куда пойти».

\* \* \*

— Желаете на закуску дня посмотреть нечто интересное? Как вы думаете, какое учреждение в «республике рабочих и крестьян» открыто всегда, т. е. не закрывается ни днем, ни ночью? Подумав, я сказал:

— Наверное, государственный кинематограф.

— Нет, не угадали.

— Ну так библиотека, родильный приют, Агитпросвет...

Он рассмеялся и сказал:

— Идем.

Пройдя несколько улиц, мы попали на бывший Владимирский проспект, а как он сейчас называется — не поинтересовался. Вошли в освещенный подъезд, где обширная вешалка ломилась от платья. Поднялись по достаточно торжественной, ярко освещенной лестнице. Взяли какие-то билеты и затем вошли в залу. Посередине ее журчал фонтан, ниспадая на какие-то ноздревато-тошнительные камни, как почему-то бывает у таких фонтанов. Кругом стояли столики. Напротив была стена с огромными окнами, через которые виднелась другая зала, еще ярче освещенная, очевидно, концертный зал. На эстраду взошел солидный человек, впрочем, хорошо одетый, который не мог быть не чем иным, как баритоном. Действительно, он массивным голосом стал «просить позволения»:

— Позвольте, позвольте!..

И полился пролог из «Паяцев», нестерпимо надоевший и все же ужасно красивый.

Но мы предоставили ему изъясняться с публикой о страданиях салтимбанков и прошли в другую залу, дверь в которую вид-



нелась налево. И там я увидел нечто, пожалуй, более интересное, чем творение Леонкавалло.

Отвратительный, мутный дым стоял в этой зале. От него тускнел яркий свет электричества. И физическая и психическая атмосфера этой комнаты была нестерпима.

Вокруг столов, их было штук десять, больших и малых, сидели люди с характерными выражениями...

— Что это? — сказал я. — Игорный дом?

— Да. Это то учреждение, которое в пролетарской республике не закрывается ни днем ни ночью!

— Как? Никогда? Даже для уборки?

— Никогда. Республика не может терять золотого времени. В четыре часа утра, в двенадцать часов дня, в шесть часов вечера — когда ни придете, здесь все то же самое: все те же морды и все тот же воздух.

\* \* \*

Я не мог тут долго выдержать. Здесь было слишком отвратительно. Кроме того, моя строгая фигура, в девственно-синей толстовке, была живым укором этому ужасному падению коммунизма.

Мы вышли в соседнюю залу и у журчащего фонтана слушали баритонов и теноров, видели пляшущих барышень, воображавших себя балеринами, пили чай с пирожными и философствовали.

И фонтан, не умолкая,  
В зале мраморном журчал,  
И меня в мечтаньях рая...

Так вот, значит, каков социалистический рай! Не видя ее, я еще лучше улавливал коллективное выражение лица гнусной соседней залы. Мужские и женские лица, старые и молодые, сливались в одну скверную харю, нечто вроде химеры с лицом скотски-отупевшим.

Публика тут была разная. Были хорошо одетые, но большинство было мятых и грязных, очевидно, небогатых. От этого делалось еще сквернее, ибо не с жиру пришли сюда эти люди; их притянула страсть, неумолимая, севшая уже на них верхом, как ведьма на Хому Брута.

— Кто ж содержит этот притон? Неужели государство?

— Почти что. Номинальное какое-то общество, но львиная часть доходов идет... на народное просвещение.

— Черт возьми!

\* \* \*

Выспался я прекрасно в своем солидном номере, и никто меня не беспокоил. А утро следующего дня мы решили посвятить «осмотру музеев». Так ведь всегда делают «знатные иностранцы».

И вот мы пришли на удивительную площадь, что против Зимнего дворца. Здесь «они» сделали только одну гадость: сняли красивую решетку, с императорскими вензелями, — золотом по стали, — которая была вокруг Зимнего дворца.

— Они говорят, что это позднейшая пристройка, которая испортила первоначальный план, но на самом деле, конечно, — из-за вензелей...

Но единственная в мире Александровская колонна стоит исполинской свечой среди площади.

— Умора была с этой колонной!.. Они ее не решились тронуть, но ужасно им не нравится Ангел, что наверху. Так вот, они соорудили этакий колпачок, довольно художественный, чтобы Ангела прикрыть. Но как его туда надеть? Ведь никак на колонну не взберешься... И вдруг нашлись: с воздушного шара! Чуть ли не весь Петербург собрался смотреть. Хохотали до упаду. Только этот шар подвернут к колонне, а ветерочек чуть-чуть подует... Отъехал! И несчастные в корзинке болтаются со своим колпаком! Опять прицелились надеть, опять поехали! В толпе крик, гвалт, улюлюканье. Целый день возились. К вечеру бросили! Оставили Ангела в покое, вот он и стоит себе там...

\* \* \*

И великолепная колесница над аркой Генерального штаба стоит, хотя кони и просятя улететь в небо... Подождите лететь! Рано...

\* \* \*

Дивная площадь. На ней, на пушистом снегу, упражняется конная милиция в красных шапках. Раздается раскатистая кавалерийская команда, и эскадроны маневрируют.

Старайтесь, голубчики. Пригодится воды напиться. Шапочки-то мы вам переменяем, а лошадей оставим. Учитесь же ездить верхом: ученье — свет!

Мы вошли в Зимний дворец. Внизу холодно, неуютно, нетоплено. Взяли билеты в «музей революции», кажется, стоит тридцать копеек.

Поднялись по каким-то, видимо, служебным лестницам и вошли в залу где, замерзая в сапогах и валенках, дремали какие-то «бабы — сторожевые». И вот начался осмотр. Все больше фотографии. Февральские дни, февральские газеты, все хорошо знакомое, всевозможные члены Государственной думы, Родзянко<sup>14</sup> в бесчисленных видах, Керенский тож. Все это собрано добросовестно, но скучно.

Перед одним портретом я простоял довольно долго. Это был господин средних лет, с большими усами и еще с бóльшими воротничками. Лицо такое, какое бывает у еще молодых мужчин, когда у них уже чуть начинает сдавать сердце.

Этот господин был мне скорее несимпатичен и, во всяком случае, очень далек от меня. Между тем это был я собственной персоной.

Держу пари, что если кто-нибудь сбоку наблюдал нас обоих, портрет и меня, то никакими средствами он не мог бы установить тождественность этих двух личностей — этого непервосортного представителя дореволюционной буржуазии и этого правоверного коммуниста с неприятным, но строгим лицом.

\* \* \*

Очень долго оставаться в этом музее революции не стоило. Для историка-корпидолога, может быть, и важно, но для вольного вдохновения ни к чему. Они здесь наставлены без всякого смысла и толка в каждом углу и в каждой щели.

\* \* \*

Мы спустились и вошли в другой подъезд. Тут, наоборот, было много народа. Чего-то поджидали. Нам объяснили, что из кучи, как мне сначала показалось, грязного белья, которое оказалось на поверку коллективом сандалий, надо выбрать себе по росту пару и надеть поверх обуви. Когда мы завязали наши тесемки, сверху по лестнице спустилась партия, которая начала свои развязывать. Это, значит, те, кто уже совершили рейс по дворцам. Две барышни немедленно повели новую партию наверх, в которую и нас включили.

Первая барышня шла впереди и давала объяснения, вторая барышня шла сзади, очевидно, для того, чтобы чего-нибудь не украли.

Первая барышня, судя по выговору, когда-то, может быть, бывала в этих стенах в несколько иной роли. Она давала объяснения холодно, но совершенно прилично. Без всякой тенденции.

— Вот эта комната служила приемной. Вот целый ряд картин, изображающих батальные сцены. Это победа русских при... Следовали имена и даты.

— Вот этот длинный коридор весь увешен сподвижниками Александра II. Это...

Она перечисляла, называя главнейших.

— Вот комната, где принимал Николай I. Прием был стоя. Сравнительно с последующими приемными она отличается холодностью и торжественностью. Строго выдержана в стиле.

— Вот приемная Александра II. Она носит уже более интимный характер.

И так далее в этом роде, холодные, заученные, бесстрастные, более бесстрастные, чем рассказ любого гида в любой стране, лились эти указания, ясные и вразумительные.

Шедшая за ней горсть людей, в которой были мужчины и женщины разных возрастов, от молодежи до пидстарковатых, не позволяла себе никаких апострофов.

Что они думали? Кто их знает. Привыкли молчать в СССР.

Покой менялись одни за другими. Прекрасные в своем роде, часто непонятные с точки зрения современной роскоши.

Вот эта маленькая комната без света служила столовой Николаю I. В любом сильнобуржуазном доме в эпоху, предшествовавшую революции, такой столовой не потерпели бы.

Эти комнаты, указывавшие на скромную личную жизнь государей и в особенности государынь, производили некоторую сенсацию среди окружавшей нас горсточки людей. Произносились не особенно ясные междометия, смысл которых был, однако, очевиден: не того ждали.

\* \* \*

Морозный воздух, который был холоднее, чем на дворе, сменился приятной теплотой отапливаемого помещения. Мы вошли в личные покои последнего Государя. Они по жестокой иронии охраняются его убийцами с особой тщательностью.

И внимание горсти людей как-то повысилось, обострилось. Они стали еще тише, впечатлительнее. Трагизм недавнего мученичества веял в этих комнатах.

Здесь был чудный кабинет, кабинет-библиотека покойного Государя, весь выдержанный в темных тонах, где над превосходным камином толпились нарядные шпалеры кожаных книг. И, кажется, это только одна комната, которая могла претендовать на звание «царских апартаментов».

— В покоях Николая II и Александры Федоровны нет особо ценных вещей: все это вещи интимные, которые имели ценность только постольку, поскольку они были им дороги. Здесь сохранились перья и ручки, которыми писал Николай II, это бювар Александры Федоровны. Это — коллекция пасхальных яиц, которые она получала в подарок...

Так, ледяной струей, журчала барышня.

Было нечто в высокой степени тяжелое в обнаруживании этих интимных комнат, так сказать, перед могилой, еще свежей. Чуткая к этого рода вещам, русская душа это понимала. Ни одного скверного вопроса не сорвалось в этих комнатах.

Когда мы проходили мимо большого бассейна для купанья, единственная роскошь, которую, кажется, позволял себе покойный Государь, мой спутник показал мне винтовую лесенку, убегавшую вверх. И зашептал мне на ухо:

— Вот там есть комната, где этот прохвост Сашка Керенский жил.

\* \* \*

Из теплых покоев последнего Государя мы еще раз вернулись в величественный холод Николая I. Это была дивная зала с превосходных вазами. Из яшмы, кажется...

И затем — конец, опять вниз и сняли сандалии.

\* \* \*

— Ну, еще в Эрмитаж зайдём, чтобы все увидеть.

Огромные троглодиты из зеленого мрамора все так же поддерживали тяжелый фронтон Эрмитажа. Мы погрузились в этот океан искусства.

Рассказывать Эрмитаж бесполезно. От Египта до Репина здесь есть кажется, все, что оставило свой след в истории человеческой культуры.

Но, действительно, удивительно, каким образом все это уцелело во время «жестокоего и беспощадного русского бунта». Что же, русский народ оказался слишком культурным или, наоборот, дико невежественным? Сознательно ли он пощадил это сокровище или только потому, что не понял ценности «жемчужного зерна»?

Говорят, что многое тут раскрали. Может быть. Но это нужно знать. Человека же, который поверхностно знаком с Эрмитажем,

может только подавить неисчислимость собранных русским абсолютизмом и пощаженных русским бунтом сокровищ.

Ведь даже сохранилась зала, сплошь наполненная драгоценными перстнями! Это, кажется, не трудно было разобрать, что деньги стоит. Как же не украли?

Ты и убогая, ты и обильная,  
Ты и великая, ты и бессильная,  
Матушка Русь!

Если бы своими глазами не видел, не поверил бы. Правда, в этой комнате тихонечко, но внимательно, притаился человек у телефона. Он, по-видимому, висит на трубке всегда, чтоб в случае чего сейчас же дать знать в караул, который, как говорят, где-то сидит внутри.

\* \* \*

По всем залам Эрмитажа видны стайки экскурсий. Это водят детей под присмотром руководителей. Воображаю, что они там врут несчастным ребенкам! То же, вероятно, что и иностранцам. Что, мол, все это собрал для деток добрый дедушка Владимир Ильич, отнял у гадких людей — буржуев, которые за завтраком кушали бедного рабочего, а за обедом бедненького крестьянина...

Но ребеночки-то в Триэсерии шустрые, пожалуй, разберутся...

\* \* \*

На подъезде Суворинского театра, что на Фонтанке, была Ходынка. Двери не вмещали потока людей, желавших увидеть пьесу, которая сегодня шла в двухсотый раз. С трудом добившись кассы, мы узнали, что есть билеты только в семь рублей. Все остальное распродано. С трудом сдав платя у вешалок, мы пробрались на свои места в партер. Мое место пришлось совсем с края, как бы в уголку, соседей слева у меня не было, а сосед справа был свой.

Я не успел рассмотреть публику, потушили свет, и взвился занавес. Сразу я не понял, что это такое. За первым занавесом оказался второй, посредине которого красиво горела всевозможных цветов камнями... шапка Мономаха. Затем я увидел, что эта эмблема находится на груди огромного двуглавого орла, который был во весь занавес. И еще через мгновение понял, что корона слетела с искаженных мукой голов и когти беспомощно роняют скипетр и державу. В то же мгновение я уловил в оркестре, иг-

равшем шумную прелюдию, нечто, от чего я вздрогнул. Пусть в издевательском темпе, пусть раздерганные и искривленные, как этот орел, но все же это были звуки гимна, да, гимна, «Боже, царя храни», и его нельзя было не узнать! Правда, его сейчас же заглушили ужасные фанфары, завывания с применением хроматизмов и тремолирующих железных листов (это, очевидно, должно было изображать нарастание революционной стихии), но он, гимн, прорвался еще раз, и снова был потоплен каскадом звериных звуков, и выплыл опять, чтобы окончательно погибнуть под тяжестью все заливающей меди, неистово трубившей «Марсельезу».

И затем, после этой звуковой победы, все смолкло. Тогда под шапкой Мономаха, продолжавшей гореть, таинственно мерцая изумрудами и яхонтами, открылось нечто вроде каюты. В этой каютке, ярко освещенной, в то время как все остальное было в тени, оказался стол, обыкновенный стол заседаний под красной скатертью, за каковым столом сидело четыре индивидуума в пиджачках. Средний субъект, изображавший председателя, стал городить какую-то чушь. Затем приказал ввести «подсудимую». Из правой кулисы выползла женщина в большом платке, главная достопримечательность которой состояла в том, что она хромала.

— Анна Вырубова<sup>15</sup>, — обратился к ней председатель тоном плохого адвоката, — вы находитесь перед Верховной следственной комиссией. Нам известно, что вы находились в самых близких отношениях с семьей, которая привела на край гибели двухсотмиллионный народ, семьей Романовых. Скажите, что вы знаете об этом.

Хромая некоторое время отнекивалась, но, потом, когда председатель ткнул ей какую-то кипу бумаг и угрожающе сказал: «А это вам знакомо?» — села на стул и горестно поникла. И, значит, все дальнейшее надо понимать так, что пьеса написана на основании показаний Анны Вырубовой.

— Да кто написал-то? — спросил я.

— Разве вы не знаете? Граф Алексей Толстой в сотрудничестве с одним тут «профессором истории» Щеголевым<sup>16</sup>.

\* \* \*

И вот началось.

Никакого, разумеется «заговора» не оказалось. Это название только гнусный предлог, чтобы оправдать себя в своих собствен-

ных глазах, оправдать человеку, продавшему свое перо и несомненный талант тем, кто грязные перья покупает.

А все дело в том, что графу Алексею Толстому приказали рассказать распутинскую историю над еще не закрывшейся могилой трагической императорской четы. И его сиятельство поручение принял и написал. Что ж? «Орден Хамовников» существовал во все века и рекрутировал своих верных во всех слоях общества.

Впрочем, нужно быть справедливым даже в негодовании. Толстой не посмел бросить в императрицу той грязью, которой ее одно время забрасывали. Эротический мотив в пьесе отсутствует.

\* \* \*

О публике.

Одета она серо, бедно. Так сказать, по-третьеклассному. Есть кое-где туалеты получше, но общий фон — жалкий. По национальному составу достаточно евреев, но подавляющее большинство все же русское.

Ее психология? Трудноуловима. Это сфинкс безглазый, хотя у него две тысячи глаз. Когда императрица била поклоны под нагло опускающийся занавес, они смеялись.

Но кто «они»? Ведь те, что чувствовали болезненное сжатие сердца, те не смеют говорить. Можно отметить одно: огромный интерес этой толпы ко всему, что касается царя и царицы. Это трагическое чувство и эксплуатирует Толстой, чтобы делать сборы. В Москве эта же пьеса идет ежедневно в трех театрах разом. И всегда полно.

Что их влечет? Желание посмотреть, как издеваются над ушедшими властителями, или, наоборот, хоть на сцене увидеть то, что ушло?.. Шапку Мономаха, двуглавого орла, царский дом, прежнюю жизнь?

Обоюдоострая это вещь такие пьесы, господа хорошие!

\* \* \*

На Невском я оформил наблюдение, которое я сделал еще раньше. Свободная любовь — свободною любовью в социалистической республике. Но порнография, должно быть, преследуется. Ибо нигде я не видел даже того, чем пестрят витрины всех городов Западной Европы. Голости совсем не замечается.

То же самое можно сказать насчет уличной проституции. В былое время с шести часов вечера на Невском нельзя было про-



толпиться. Это была сплошная толпа падших, но милых созданий. Сейчас ничего подобного нет. Говорят, они переместились и по преимуществу рыскают около бань. Другие объясняют, что вообще проституция сократилась, дескать, нет, мол, в ней нужды: и все так доступно. Но это, конечно, преувеличено. Мне кажется, что в этом вопросе что-то произошло. А что именно, я дешифровать не мог. Спрашивал, может быть, милиция очень преследует. Говорят, нет. В Ленинграде не притесняют.

\* \* \*

Обратно я хотел ехать самым скверным поездом. Гаруну-аль Рашиду необходимо везде побывать.

Самый скверный поезд это — «Максим Горький», где, говорят, сидят на голове друг у друга. Но это поезд местного сообщения. В Москву самое скверное место оказалось в жестком вагоне почтового поезда.

Но все же на городской станции мне дали плацкарту, за все вместе заплатил восемь рублей с копейками.

Жесткий вагон оказался очень приличным, я получил в свое обладание целую длинную и широкую жесткую скамейку, на которой, постелив плед, прекрасно выспался.

Сопутчиков по купе было трое, барышня в кушаке и мужской рубашке, молодой человек в европейском костюме и еще кто-то бесцветный. Они мне не докучали. Ехали мы часов восемнадцать, но за это время никто не сказал между собою ни единого слова. Не очень принято в СССР разговаривать с незнакомыми. Вышла Чека. <...>

1927

